

Лера Ауэрбах

ЗЕРКАЛО

роман в отражениях

Лера Ауэрбах

Лера Ауэрбах

ЗЕРКАЛО



VIRGOLA PRESS

Лера Ауэрбах

ЗЕРКАЛО

О «Зеркале»

Это философский роман о любви, памяти и времени, о мире как о пространстве отражений, где одно непрестанно проступает в другом. О том, что «любовь – везде и во всем». Тема «зеркала» – сквозная, и это держит все творение: «Мир – это твоё зеркало. Зеркало с двойным стеклом. На каждую вещь можно смотреть с разных сторон, и каждый раз она откроется по-разному». Волшебное зеркало времени.

«Дети – творцы. Именно поэтому время в детстве кажется бесконечным». Драгоценные картины детства. Первые уроки музыки, которые даёт мама, первые постижения законов гармонии. «Где дом мой? В золотистом крае воспоминаний, в обители света и печали – в приюте памяти – в вечном детстве».

Ничем, кроме музыки, не ограниченная ассоциативность мышления, совершенно легкая и свободная перетасовка литературных, мифологических и библейских персонажей (Дон Кихот и Сатир, Адам и Ева, Маугли и Скиталец и т.д.).

Прекрасные и мудрые размышления о притягательности искусства письма, об уловлении будущего, поскольку в нём есть читатель, об этой тайне. Это книга редкой внутренней свободы и духовной ясности, в которой детство, музыка, миф и слово складываются в глубокое знание о человеке.

– *Владимир Гандельсман*, поэт.

Одни авторы идут от живописи, другие – от музыки. Книга Леры Ауэрбах – симбиоз буквы с нотой. Её опус магнум «Зеркало» даже трудно назвать прозой. Это «музицированный» поэтический опыт странного характера: тонкая, элегантная, воздушная, но вполне внятная вязь сложно переплетённых мотивов, роман взросления для соло- виртуоза.

– *Александр Генис*, писатель.

«Зеркало» – роман, необычный по замыслу и по форме. Его композиция, состоящая из двадцати четырех прелюдий и двадцати четырех постлюдий, превращает саму форму в зеркало, где одна часть отражает другую и придает ей новый смысл. Ауэрбах с исключительной виртуозностью сообщает прозе точность построения и тонкость нюансировки, обычно присущие музыке. В центре этого романа – детство и память, та исчезающая материя жизни, которая, вопреки утрате, продолжает светиться в слове.

– *Соломон Волков*, писатель.

The Mirror
Lera Auerbach

Зеркало
Лера Ауэрбах

Photographs by Michael Reinicke

Text copyright © 2026 by Lera Auerbach
Edition and cover design copyright © 2026 by Virgola Press
All rights reserved.

First Edition

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise – without the prior written permission of the publisher.

Published by Virgola Press, New York
www.virgolapress.com

ISBN 978-1-968788-35-3



Лера Ауэрбах

ЗЕРКАЛО

роман в отражениях

VIRGOLA PRESS

New York

Памяти моего отца

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I • ЧИРЛИМ-ЧИРЛЮМ	5
Прелюдия № 1 до мажор • Лики Времени	7
Прелюдия № 2 ля минор • Что остаётся?	8
Прелюдия № 3 соль мажор • Голос флейты	10
Прелюдия № 4 ми минор • Зеркальный двойник	11
Прелюдия № 5 ре мажор • Кого я вижу в зеркале?	12
Прелюдия № 6 си минор • Тени	14
Трио Ор. 1	16
1. В раю	16
2. Ужасный ребенок	18
3. Улыбка Чеширского Кота	19
ЧАСТЬ II • НА ОБРАТНОМ ПУТИ	21
Прелюдия № 7 ля мажор • Оркестр из флейт	23
Прелюдия № 8 фа-диез минор • Просто Пушкин	24
Прелюдия № 9 ми мажор • Если в кране нет воды	25
Прелюдия № 10 до-диез минор • Ковчег	27
Прелюдия № 11 си мажор • Сон разума	28
Прелюдия № 12 соль-диез минор • Нетерпение сердца	30
Трио Ор. 2	31
1. Танец Евы	31
2. Между Сатиром и Дон Кихотом	33
3. Ева и Адам	35
ЧАСТЬ III • РЕКА УТРАТ	39
Прелюдия № 13 фа-диез мажор • Река утрат	41
Прелюдия № 14 ре-диез минор • Каменная опухоль	41
Прелюдия № 15 ре-бемоль мажор • Облако	42
Прелюдия № 16 си-бемоль минор • Пожизненное заключение	44
Прелюдия № 17 ля-бемоль мажор • Достижение мечты	45
Прелюдия № 18 фа минор • Вариации на тему ностальгии	47
Трио Ор. 3	49
1. На Краю Света	49
2. Я рисую разноцветных человечков	52
3. Пробуждение Скептика	54
ЧАСТЬ IV • НИТЬ АРИАДНЫ	57
Прелюдия № 19 ми-бемоль мажор • Город детских кубиков	59
Прелюдия № 20 до минор • Чудное мгновение	61
Прелюдия № 21 си-бемоль мажор • Усатый кич	64
Прелюдия № 22 соль минор • Дом души	65
Прелюдия № 23 фа мажор • Прекрасного разрозненные части	66
Прелюдия № 24 ре минор • Бах с барабанами	69
Трио Ор. 4	72
1. Как стать человеком?	72
2. Копилка для слёз	73
3. Приют Разлуки	79

ЧАСТЬ V • АРИАДНЫ НИТЬ	83
Трио Ор. 4а	85
3. Что такое любовь?	85
2. Взаимоотношения звуков.....	91
1. В темпе вальса	94
Постлюдия № 24 ре минор • На пути в Аид.....	99
Постлюдия № 23 фа мажор • Проводник	101
Постлюдия № 22 соль минор • Наследство	102
Постлюдия № 21 си-бемоль мажор • Лишние слова	103
Постлюдия № 20 до минор • Летучие мыши	105
Постлюдия № 19 ми-бемоль мажор • Ветка в окне.....	106
ЧАСТЬ VI • УТРАТ-РЕКА	109
Трио Ор. 3а	111
3. Сарабанда для Скитальца.....	111
2. Ария Цывиля	117
1. Возвращение Маугли	126
Постлюдия № 18 фа минор • Мелодия утрат.....	135
Постлюдия № 17 ля-бемоль мажор • Свойство Времени	136
Постлюдия № 16 си-бемоль минор • Историческое прошлое	138
Постлюдия № 15 ре-бемоль мажор • Херувим.....	140
Постлюдия № 14 ре-диез минор • Семья Ленина.....	142
Постлюдия № 13 фа-диез мажор • Клеймо	143
ЧАСТЬ VII • НА ПУТИ ОБРАТНО	149
Трио Ор. 2а	151
3. Ловушка для фавнят	151
2. Жизнь продолжается	155
1. Обертоны рая.....	158
Постлюдия № 12 соль-диез минор • А снег всё идёт.....	160
Постлюдия № 11 си мажор • Метроном	162
Постлюдия № 10 до-диез минор • Первый гонорар	163
Постлюдия № 9 ми мажор • Неужели я настоящий?	165
Постлюдия № 8 фа-диез минор • Сон	166
Постлюдия № 7 ля мажор • Диссонанс	168
ЧАСТЬ VIII • ЧИРЛЮМ-ЧИРЛИМ	169
Трио Ор. 1а	171
3. Кота Чеширского улыбка	171
2. Ребенок ужасный.....	172
1. В раю	173
Постлюдия № 6 си минор • Птицы улетают.....	175
Постлюдия № 5 ре мажор • Риторнелло.....	176
Постлюдия № 4 ми минор • Что остаётся?	182
Постлюдия № 3 соль мажор • Мой дом	183
Постлюдия № 2 ля минор • Отражения	184
Постлюдия № 1 до мажор • Музыка	185
ЧАСТЬ IX • КОДА или Чему улыбался Чеширский Кот (Тетрадь стихотворений Странника).....	187
ПРИМЕЧАНИЯ	217

ЧАСТЬ I • ЧИРЛИМ-ЧИРЛЮМ

Прелюдия № 1 до мажор • Лики Времени

Затрудняюсь определить точный жанр этой книги. Дневниковые записи? Монодрама? Роман, облеченный в музыкальную форму полифонии жизни, с ее зеркальными рефренами, прелюдиями, каденциями? Да и так ли это важно? Вечное желание разложить по полочкам, закупорить в склянки и повесить ярлыки: «Руками не трогать!» Хорошо бы... Желание отгородить, защитить сокровенное от чужих взглядов. «Осторожно: Свежевыкрашено!» Область души, куда посторонним вход воспрещен.

Ребенком часами вглядывалась в зеркало – вплотную к своему отражению, глаза в глаза, пытаюсь понять, кто мне выбрал это лицо, это тело, эти глаза. Да и я ли это? Мучительная несхожесть копии, отделившейся от оригинала и начавшей собственное существование. И чем дальше, тем очевиднее отличие от первоначального источника – почти насильственная разлука.

Первые наброски «Зеркала» я написала накануне моего двадцать первого дня рождения. Совершеннолетие – своеобразная черта, придуманная цивилизацией, точка отсчета, визитная карточка во взрослый мир. Ответственность за поступки (в том числе уголовная), разрешение на вождение автомобиля, приобретение сигарет, употребление алкогольных напитков, посещение специфических увеселительных заведений и все остальные прелести, открывающиеся человеку с магической цифрой «21». Блестки, фантики и прочая мишура проносятся мимо, увлекая в свой непредсказуемый танец. Огни мелькают и кружатся все быстрее, быстрее... Потом шелуха оседает, восходит новое солнце и освещает недавнее пиршество: тусклые бумажные обертки да пыль, пыль. И не стряхнуть эту пыль, не вымести из углов. Пыль есть прах – истинный лик Времени. Все было прахом и станет прахом. Тщета усилий.

Что же остается?

Узор на обоях в детской? Мамина колыбельная на идише, пришедшая еще из бабушкиного детства, слов которой ни я, ни

мама моя, не зная идиша, не понимали, но запавшая в душу на всю жизнь? Темнота и теснота старого платяного шкафа в кладовке, в чьем пропахшем нафталином нутре проводила я долгие часы раннего детства, хоронясь от чужих взглядов?

Что остается?

Прелюдия № 2 ля минор • Что остаётся?

Чистый голос флейты.

На флейте играл бог Пан. У него были козлиные ноги, листья в волосах и грустные глаза спаниеля. Он, очевидно, знал, что на самом деле его не существует, и от этого у него и были такие грустные глаза. Мне всегда было жалко Пана. Я понимала, что он стесняется своих козлиных ног и вообще натужности.

У Пана была флейта. Состояла флейта из пузатых тростниковых трубочек различной длины. Когда Пан на ней играл, он забывал обо всех печалях, и чистый голос флейты разносился далеко по лесу. В нем слышался шорох листьев, пенье лягушек, треск кузнечиков и вздохи ветра.

Еще была Царевна-Лебедь. Царевну я не так любила, хотя у нее и были прекрасные огромные глаза. Полубог-полуптица. Хи-мера. Загадка. Еще не царевна, уже не лебедь. Двубличие и таинство превращения. И холод. Холод белоснежных крыл, темной воды, холод ночи. Бр-р! Ну нет, бог Пан мне был куда милее.

И был Демон. Демон был великолепен. В различных позах: лежащий, сидящий, летящий. Любимым был Демон сидящий. Локти на коленях, глаза смотрят вдаль. Страшны эти глаза. Отрава в них, гордость и тоска. Тоска нечеловеческая – не выдержать человеку. Отверженный. Я была тайно влюблена в Демона.

А звали художника Врубель. В-рубель. Как камень в воду, бултых – Врубель – и круги расходятся. Удивительно нелепая фамилия.

...В детстве, лежать ночью с открытыми глазами, в темноте, с ужасом прислушиваясь к ходу настенных часов. За секундой секунду, за секундой секунду они забирали у меня жизнь, и я точно знала, что секунды эти никогда не вернутся – канули в Лету.

Позже этот ужас усилился, и лет в двенадцать я останавливала маятник на настенных часах, убирала, изгоняла часы из комнаты, но все равно в ночи гремело: тик-так, тик-так – это стучало мое сердце. И не было у меня ни сил, ни воли вырвать его у себя из груди.

С детства – страх перед уходящим Временем. Не просто уходящим, но ускользящим; почти физически, зрительно протекающим сквозь пальцы. И каждый день – вызов невидимому и равнодушному сопернику. Удачный день – отвоеванная территория, передышка, перемирие до следующего дня. И отчаянье, и страх при дне потерянном. Жизнь – как попытка выплыть из затягивающего омута, куда Время несет дни наши. От этого во всех моих детских стихах варьируется тема уходящего дня и бесконечных эпитафий Времени.

В раннем же детстве, лет до шести, этого не было. Яблоко познания не было сорвано (кем и когда?). Дни были длиною в вечность, а часы – пустой безделушкой на стене. Бесконечные болезни, переходящие в сны; сны, перетекающие в дни, а дни – в болезни. Мир был мудрым и ясным. Он обрастал, как водорослями, фантазиями и сновидениями, но все равно сохранял первозданную стройную основу. И хрупкой была грань между бытием и небытием. Слишком недавним и близким было последнее, слишком неоформленным было первое.

Мои Учителя (о, у меня были восхитительные Учителя; там, в младенчестве, спрятавшись в пропахший нафталином шкаф, я подолгу говорила с ними, и не было ничего увлекательнее этих бесед) рассказывали мне об устройстве мира. И рассказы эти были так далеки от того, что позже было вызубрено по учебникам и вычитано из книг, как то блаженное Время далеко сейчас от меня. В их рассказах были звезды, листья и музыка, запахи и ощущения прошлых жизней и весь накопленный ими опыт; они

завораживали меня и переходили в сны, сны – в болезни, и опять эта ниточка, отделяющая меня от близкого мне небытия дрожала и рвалась.

Эти разговоры с Учителями с возрастом (со все более очевидным переходом на сторону бытия) становились все реже. Своеобразная потеря восприятия их голосов с моей стороны. Вернее, даже не голосов, а чувств, ибо общались они без помощи слов (слова не помогают, слова разлучают, и любая речь – это уже перевод с оригинала).

Но где-то они рядом, мои ангелы-хранители. Я это знаю. И Время, страшное Время, несуществующее Время не осилит нас.

Прелюдия № 3 соль мажор • Голос флейты

Не нужно искать в этих записях хронологический порядок. Нет его в них. Нет его и в жизни. Хронология... Хронос плюс логика. *И логикой гармонию разъять.* * Наука о цифрах – математика – сплошная абстракция. Причинно-следственная взаимосвязь. Ряд неслучайных случайностей.

Аличка – мама моей мамы, бабушка моя, которую я всегда звала по имени: А-лич-ка – рассказывала мне историю своей первой любви. В детском своем стремлении к справедливости я негодовала и спрашивала:

- Ну как же ты могла выйти замуж за другого – за дедушку?
 - Глупышка, – отвечала Аличка, – если бы я не вышла замуж за дедушку, ты бы никогда не родилась.
 - Как так? – не понимала я.
 - Тебя бы просто не было.
 - Но ведь такого не могло случиться! Я бы родилась все равно. Может быть, просто выглядела бы по-другому. Я ведь не могла не родиться!
- ...Или все-таки могла?

Хронос... Сколько судеб должно было скреститься? Случайность или же все-таки закономерность – мое появление на свет? Тьма материнской утробы, наполненная ощущениями голода, покоя и тепла. Оттого ли я позже искала убежища в темноте платяного шкафа? Подсознательное стремление огрaдить собственную территорию.

Лета – река забвения, чьи воды полны сладостной отравы беспамятства. Тот же Хронос. Ноль вбирает в себя бесконечность. Память – золотодобытчик. Золотые крупинки остаются, песок же уносится волнами. И так ли уж важна тут хронология? Кривое зеркало Времени не отражает, но искажает события. Цифры – обман, пустые знаки, придуманные человечеством. Миф.

Нет прошедшего Времени. Нет будущего. Есть только настоящее. Я и сейчас все тот же ребенок, стоящий вплотную к своему отражению в зеркале, глаза в глаза, пытаюсь понять: кто я? И книга эта – мое зеркало. Отражения памяти – мой зеркальный двойник.

Прелюдия № 4 ми минор • Зеркальный двойник

Темный ужас, огненный ужас, предвестник сладко-кошмарного безумия; ужас, дремлющий на дне сердца моего, – огненный демон, восходящий из бездны – без-донной пропасти, тьмы подсознания. Навязчивый кошмар, от которого пытаюсь спастись; сон, от которого не могу проснуться. Игра в нормальность, в повседневную жизнь. Распределение ролей: дощери, ученицы, подружки... Попытка побега – жалкое зрелище.

...С детства славилась бесстрашием. В шесть лет подошла вплотную к громадному догу, разъяренному мальчишками, рвущемуся на цепи и непонятно почему не растерзавшему меня. В восемь лет, на спор, прошла по тоненькому карнизу пятого этажа в Латвии. Пожарные лестницы, крыши домов, ветки деревьев помнят следы моих ступней и ладоней.

Лет в одиннадцать, тоже на спор, спрыгнула с крыши высокой беседки во дворе, после чего хромала полгода. Зима, собачьи упряжки, самые коварные горные лыжни, самые высокие трамплины с коллекциями сломанных лыж на вершине не могли отпугнуть меня. Бесконечные ссадины, синяки, царапины...

Физической боли не существовало. Так же, как и страха. Ибо были они ничтожны по сравнению с бездной ужаса и боли, таящейся в сердце моем. Что самые изысканные яства для познавшего истинное блаженство? Что страх боли или даже смерти для познавшего истинный ужас?

Лет с семи боялась взросления. Цеплялась за ускользящее детство, внушая себе: «Восемь лет – это еще немного, я еще маленькая, вот в десять уже буду считаться большой». Внутренне же зная, что это самообман, что цифры лгут, что я уже жила и пережила и взрослость, и старость. Что облик мой детский обманчив и отравлен Временем. Что рядом со сверстниками я теряюсь, что и они чувствуют наше несходство и инстинктивно отталкивают меня. Тщетное и отчаянное желание «быть как все» с заранее очевидным поражением.

Мое детство... Ускользящее детство. Никогда не покидающее меня детство. Я навсегда осталась ребенком и в чем-то самом важном, самом сокровенном, в основе основ своих не изменялась лет с шести. И эта двойственность: глубокая зрелость и мучительная детскость, и в том, и в другом случае никак не соответствующие возрасту, и составляют мое «я». Кого я вижу в зеркале – ребенка или старца? Ответ, старинное стекло!

Прелюдия № 5 ре мажор • Кого я вижу в зеркале?

Непреодолимое препятствие, останавливающее перо, – это вскормленный с молоком матери девиз «мой дом – моя крепость». Что бы ни случилось в стенах дома – не должно выходить за его пределы, становиться достоянием толпы. Что бы

ни происходило между близкими – должно навсегда оставаться неким семейным склепом, вход в который за семью печатями. Четкое разделение мира на «мы» – семья-табу; на «друзей» – две-три семьи математиков, знакомых родителей, с которыми можно говорить на темы, не касающиеся близких, но запретные для ушей «чужих» – всех остальных.

Помню, как-то Игорь, мой брат, с которым разница у нас в десять лет, с приятелем его, Женей, распили бутылку коньяка на двоих. Игореше стало плохо. Женя долго и путано извинялся перед родителями, а Игорь лежал в спальне, а рядом стояло ведро, закрытое газетой, – его рвало.

На следующий день у нас был знакомый родителей, Илья Б. Сидя за столом, я сказала маме (пытаясь внести свою лепту в общую беседу взрослых): «Мамочка, расскажи дяде Илюше, как вчера Игореша отличился», за что была награждена таким взглядом, от которого можно было под землю провалиться. Дядя Илья осторожно спросил: «А что, собственно, случилось?»

Я извинилась и встала из-за стола, завуалировав свое позорное бегство нуждою. И закрывшись в уборной, горя от стыда, слышала, как мама, бедная моя мамочка, отчаянно пытается выбраться из сетей, расставленных мною: «Да нет, ничего особенного. Ты же знаешь, он в Москву летом поступает. Ну вот ему и сказали...»

Я долго присидела на полу в уборной, проклиная свой язык и боясь показаться маме на глаза. Да, гордыня родилась раньше нас.

Честно говоря, ни тогда, ни сейчас ничего особенно зазорного в этом происшествии я не находила. Для меня это было скорее чем-то забавным: подумать только, мой старший брат, образцово-показательная личность, отличник, математический гений и шахматный вундеркинд, обыгравший самого Петросяна и сыгравший вничью с Каспаровым; мой брат, о чьих сочинениях учительница литературы писала: «И блеск и прелесть», победитель всех возможных и невозможных олимпиад, беско-

нечный пример для подражания – мой брат напился?! Нет, право же, в этом было что-то определенно курьезное. Воистину ничто человеческое нам не чуждо.

Эта тайная гордыня не только не спланивала нас как семью, но скорее разъединяла. Каждый замыкался в себе, застегиваясь на все пуговицы. Любая боль не делилась на четверых, но умножалась. Сумма одиночеств, связанных кровным родством и пределами автономного государства в четырех стенах, с его тайнами и историей.

*The king is dead, but nobody knows.**

Быть летописцем – занятие трудное и неблагодарное. О мертвых – только хорошее. О живых – тем более. Лучше не писать вообще. Пусть тайны останутся тайнами. Мое умрет со мной. Боль перебродит и перельется в новый сосуд. Приобретет иную форму. Так виноград превращается в вино, гусеница – в бабочку, семя – в цветок.

*Узнаем о предметах по теням, ими отбрасываемым.**

– Молчите же, сфинксы. Молчи, Царевна-Лебедь. Молчи, Демон. Не выдавайте меня. В каждом зеркале есть место, где всегда сумрак. И отражает оно все, кроме самого себя.

Прелюдия № 6 си минор • Тени

Машина времени – мечта фантастов – была создана давным-давно, это человеческая память. И я уверена, что дано нам запоминать все; что в глубине человеческого мозга сохраняются отпечатки каждого прожитого мгновения и этой, и грядущих жизней. Сложность лишь в умении находить их в лабиринтах памяти. Находить по тайным путеводным знакам: запахам, знакомому жесту, определенному преломлению света, мелочам обихода. Разматывать клубок, добираясь до основ своих.

Я – это и есть моя память, сумма всех прожитых мгновений. При этом мое «я» дробится и множится: я и младенец, и ста-

рик, и художник, и убийца. Все эти прошлые мои воплощения проходят в подсознании призрачными толпами, и, начиная монолог от своего имени (какой вижу себя в сиюминутное сейчас), неминуемо вкладываю его в уста призрака из собственного окружения. И то, что казалось мне искренним и единственно верным в момент написания, является лишь одной гранью тысячегранника и, как кривое зеркало, не отражает, но искажает черты. Хотя, кто знает, быть может, лишь кривые зеркала говорят нам правду.

Я вижу толпы и толпы людей. Среди них есть солдаты, ремесленники, короли, музыканты и циркачи, молочники и диктаторы. И все они являются мной. И каждый раз, начиная мотать ниточку, ведущую меня из лабиринта, вместо выхода я попадаю в новый лабиринт. В каждом из лабиринтов меня поджидает свой минотавр – согрешение, пришедшее из прежних воплощений. Цель моя – убить минотавра.

Вот некоторые лица из моей призрачной свиты:

Безумец

Игрок

Разбойник

Авантюрист

Отшельник-мудрец

Скептик

Ребенок

Художник (Одиссей)

Его муза

Аполлон (разумное начало)

Дионис (стихийное начало)

Гея (изначальная женственность)

Дикарь (Маугли)

Нимфетка

Скиталец

Герой-мученик (за что угодно: за веру, за отечество, за идею)

Паяц
Блудница
Монашка
Дон Кихот
Убийца-маньяк
Иосиф, проданный в Египет.

– Ну, кто там еще, выходи на свет Божий!

Герои в масках, один переходит в другого, в другом повторяет свой образ. Зеркальный зал, где зеркала отражают друг друга, дробят отражения. Карнавал призраков; раздвоение, растрояние, расщепление собственного лица.

*По образу и подобию Своему...**

Толпа зеркальных оборотней.

– Добро пожаловать в театр абсурда! Авель = Каин. Итак, начинаем, господа.

Трио Ор. 1

I. В раю

II. Ужасный ребенок

III. Улыбка Чеширского Кота

I. В раю

Театр – темная захлавленная кладовка. Зал – платяной шкаф. Я – актер, я же – зритель. Занавес поднимается. На сцене – джунгли. Лианы вьются по стволам высоких прекрасных деревьев. От молодой земли подымается в небо пар. На ближайшую ветку садятся две разноцветные птицы с длинными носами и высокими хохолками.

– Чирлим-чирлюм, – говорит одна.

– Чирлюм-чирлим, – отвечает другая.

- Чирлюм-чирляминам? – спрашивает первая.
- Ци-коон, Ци-коон, – подтверждает вторая.
- Ципун-цы, цыпун-цы, – смеется первая.

Птицы улетают.

Из кустов выглядывает осторожно Маугли, сын волчицы, брат Ромула и Рема. Из зарослей выходит нагая Ева. От земли к небу поднимается пар. У Евы в волосах алый цветок. В руках – яблоко (пока еще не запретный плод, а просто яблоко – алое, полное сока яблоко). У ног ее (цвета пшеницы, упругой шелковой пшеницы) стелется Змий. Он улыбается. Змий мудр и стар. Глаза его сладки, как мед, глаза, источающие мед, сладкий мед; медоточивый взгляд, вязкий, цепкий и ленивый, с черными щелками зрачков. Говорят, змеи никогда не мигают. Нет, не нужно опасаться. Ничего плохого нет в том, что Змий беседует с Евой. Змий – Божье создание, давно вкусившее дар познания. Все идет по Божьему плану. Ева садится на поваленный ствол дерева. Змий обвивается вокруг ее ног, кладет голову ей на колени и прикрывает глаза.

Жарко. Теперь за Евой наблюдает, кроме Маугли, впервые увидевшего женщину – нагую женщину, козлоногий бог Пан. У Пана печальные глаза спаниеля. Он очень стесняется своих козлиных ног. Ева, погружаясь в дремоту, соскальзывает на траву. Змий услужливо кладет ей охапку листьев и цветов под голову – вместо подушки. Волчонок Маугли подползает поближе к кустам и замирает. У него течет слюна.

*«Мы с тобой одной крови, ты и я.»** Подползти поближе?

Змий предостерегающе поднимает голову и смотрит невидящими глазами в сторону пошевелинувшихся веток.

«Лучше не надо» – облизываюсь... Бог Пан вынимает свою свирель и начинает играть.

II. Ужасный ребенок

Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон...

Сон, снег...

Сон, снег, соль...

Сон, снег, соль, слезы...

Сон, снег, соль, слезы, стих...

Сон, снег, соль, слезы, стих, сыр...

Сон, снег, соль, слезы, стих, сыр, сир...

Сир-рис, сирис, ирис, осирис, сфинкс, финн...

Сон-нос, сонность, сон-ное царство, спящая кра-са-вица, лица, лицо, кольцо-цоколь, сокол, цокот, кот-ток, ко-ток, каток, сток, стук сердца, лица сердца, кольцо конца, ац-нок, спок-нок, Конек-Горбунок, горбунок, горб, груб, грубиян носит горб, *горб верблужий такой неуклюжий,** но есть еще хуже, уже, уже ужа, ужас, ужасный ребенок, этот ужасный ребенок, тот, который кота запер в шкафу, в платяном шкафу.

Кот Кось, Сиамский, Сиамский близнец. Говорят, змеи не мигают. Глаза злые, глаза змея. Опять этот ужасный ребенок запер кота в шкафу, надел на кота чепец от мишки, от плюшевого мишки (плюш-муж, киш-мышь, кис-кыс, брысь), от плюшевого мишки надел еще штанишки на кота. Тра-та-та. И объявил его королем. *Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!**

...Объявил его королем. И кот орал. Икоторал. У кота была икота. *У попа была собака.**

...И кот орал и расцарапал, рр-раз-царь-аррап-орал, расцарапал руки в кровь. Р-руки в кровь, взвод в ров, бойся воров, вор-ов. Не хмурь бровь. Руки в кровь...

*...Без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей...**

Ей хоть бы что! Вот заработаешь заражение, заработаешь заражение крови и умрешь. Пропадешь ни за грош. Ужасный ребенок. Спросонок. С пеленок. Бобо-больно-больной-больней-бо-лит.

*...умирать не ново, но и жить, конечно, не новой.**

Горб-гроб-Гробадоб. Горбатый раб за работой заработает заражение крови – и в гроб. Угробит себя. Гробит мамино здоровье, дар в ров, держи воров, – руки в кровь ободрал. Драть тебя надо, да некому!

Кот-обормот, оборотень, король, Лера, Лера-лира, король Лир, шулер. Шулериграетврuletteку. Ужасный ребенок. Сир-сыр, стих-стих, слёз-соль-спи-сон. Как раз-царь-арап – расцар-рапанный царственный нос, вытри нос, нос-сон-нос – сонность, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон...

III. Улыбка Чеширского Кота

Жарко. От земли поднимаются к небу пар. Ева не спит.

– Змий, так что же было дальше? – спрашивает Ева.

Глаза ее полуприкрыты. Рыжие волосы стекают по обнаженным плечам. Правая рука заведена за голову – к поваленному стволу, левой Ева машинально играет яблоком (не запретным плодом, а просто алым, полным сока животворным яблоком).

Змий: – И в гордыне своей решили они построить такую башню, чтобы достать ею до небес. Собрали они камни и начали строить. – Змий замолкает и зевает.

Ева: – Ну продолжай!

Змий: – Башня росла, росла, росла. Она была уже выше самого высокого дерева в округе, самого высокого строения. Облака, проплывая, задевали ее. Каменная опухоль – символ людской гордыни. Но смешал Бог языки их, чтобы не могли они больше понимать друг друга, дабы избежали они погибели во имя собственного невежества. Перестали они понимать друг друга, бросили строить башню. Так и стоит она, клонится к земле, каменная опухоль, творение не разума, но гордыни.

Ева поднимает на Змия свои прекрасные глаза с рыжими длинными ресницами: невинные, упрямые, бесстыжие (без-стыжие, без стыда, еще не ведающие стыда) глаза.

Ева: – А что такое гордыня?

Змий молчит. Змий улыбається. Он стар и мудр. Ева надкусывает белыми зубами яблоко. По губам Евы течет сок, каплет на траву. От земли поднимается пар.

Змий прикрывает веки. В воздухе появляются очертания гигантской улыбки. Это Чеширский Кот. Улыбка без кота, что кот без улыбки. Кот-король. Кот-обормот-оборотень. Дар в ров. Бог Пан, давно перестав играть, спит на дереве; ему снятся нимфы. Ева ест яблоко. По губам ее течет сок, каплет на траву. В волосах у Евы – алый цветок. Змий спит или же притворяется спящим. Волчонок Маугли уползает в джунгли. Жарко. Улыбка Чеширского Кота тает в воздухе.

ЧАСТЬ II • НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Прелюдия № 7 ля мажор • Оркестр из флейт

Что забывается прежде всего – мелочи быта – детали повседневной жизни, за которыми и скрыты воспоминания. Особое зрение изнутри – когда видишь предмет не только таким, каким он есть, но и потайным зрением памяти – таким, каким его впервые увидела и осознала в детстве.

Я первые возвращалась в Россию, из которой уехала («вырвалась», как тогда говорили) еще подростком, сбежав от своих сопровождающих во время гастрольной поездки в США.

«Вырвалась» я тогда из Советского Союза. Шел мрачный, полуголодный 1991-й год, грозное затишье перед переворотом, с легкостью стершим с географических карт мира самое громадное государство. И когда, уже после моего отъезда, это предгрозовое ожидание, разбухшее, как раковая опухоль, наконец лопнуло, и взвившаяся пыль стала оседать, то останков страны найти не удалось. Пыль есть прах – истинный лик Времени.

Последние дни перед отлетом в Россию меня все запугивали, отговаривали ехать.

– Тебя обратно не выпустят! – говорили мне друзья. Исконный эмигрантский сон, неизбежный для любого беженца: возвращаешься в Россию, а обратно выехать не можешь – не выпускают. Просыпаешься в холодном поту с комком ужаса в горле.

Провожал в аэропорт меня Г. Попали в ужасный затор. Г. нервничал, что опоздаем на самолет, молчал. Я тоже молчала. Ко всему прочему у меня разболелся живот, я забыла поесть, меня укачало в машине, и начался почему-то жуткий насморк.

Приехали в аэропорт в последний момент. Переносная тележка для багажа, которую я специально купила накануне, сломалась. От нее отлетело колесо и мгновенно исчезло, таинственная пропажа этого колеса так и осталась неразгаданной.

Чемоданы разваливались на глазах – от них отлетали колесики, ремни не затягивались, замки не работали.

– Когда же, наконец, у тебя будет приличный багаж? – спросил Г., терпеливо обматывая их клейкой лентой, чтобы окончательно не развалились. Я только махнула безнадежно рукой. Говорить не было сил. В животе у меня играл целый оркестр из флейт.

Когда Моцарта, зная его нелюбовь к флейте, спросили, что может быть хуже флейты, Моцарт логично ответил – две флейты. У меня в животе играло как минимум двадцать флейт.

В зале ожидания было много народу – самолет опаздывал. Среди прочих была и туристическая группа с юрким, козыркастым гидом с манерами Остапа Бендера. Была еще в группе женщина в высоком, пышно взбитом парике.

– Знаешь, что мне сейчас больше всего хочется? – спросила я у Г., ожидавшего от меня чего-то возвышенного в сей исторический момент.

– Чего? – спросил Г.

– Сорвать этот парик и долго крутить им в воздухе.

Прелюдия № 8 фа-диез минор • Просто Пушкин

В самолете я оказалась рядом с американкой из туристической группы. Ее звали Люси. Она очень соответствовала своему имени.

Что такое имя? Сочетание звуков, обозначающие определение человека? Или же сочетание звуков, являющихся самим человеком? Если отнять у человека его имя, то что останется? Мы привыкли отождествлять человека с его именем, как предмет с его названием. Что же первично – человек или имя, предмет или название?

Логично считать, что человек «делает» себе имя – то есть придает сочетанию звуков, образующих его имя, характерные черты своей персоны. Так, имя Амадеус – навсегда связано с Моцартом. Райнер – с Рильке. Адольф – с Гитлером. Человека с фамилией Пушкин будут неизбежно спрашивать: приходится ли

он родственником великому поэту. И даже если он, разозленный и утомленный расспросами, повесит у себя на груди табличку: «Родственником не прихожусь. Я – ПРОСТО Пушкин», то все равно образ кучерявого барда будет вставать за ним, весело показывая рожки.

Разберемся в этом. Почему непременно «просто Пушкин» должен рассердиться на неминуемые расспросы? Каждый хочет придать имени собственные черты. Тень кучерявого барда показывает рожки «просто Пушкину» потому что имя «Пушкин», – сочетание этих двух слогов, навсегда оккупировано поэтом, и другого образа, «просто Пушкина», быть не может. Человек делает свое имя. Но и имя делает человека.

Ребенком я придумала игру – определять, кто из окружающих назван правильно, а кто – по ошибке. И тем, кто назван по ошибке, найти правильное имя. Правила этой игры объяснить сложно, хотя я уверена, что любой ребенок сразу поймет, что я имею в виду. Вообще нет ничего сложнее, чем объяснять взрослым истины, познанные в детстве. В самом деле, что может быть более естественным чем почувствовать несоответствие между именем человека и самим человеком и попытаться подыскать правильное имя?

Наблюдая за взрослыми, я убедилась, что в каждом имени заложена энергия, определяющая темперамент человека, его склонности и устремления. Когда человек назван по ошибке не своим именем, то его изначальная энергия и энергия имени не совпадают. Из-за этого он может быть несчастным.

Прелюдия № 9 ми мажор • Если в кране нет воды

Американка Люси, сидящая слева от меня, определенно соответствовала своему имени. Она оказалась милой женщиной, лет сорока пяти. Это была ее первая поездка в Россию, и восторгу ее не было конца. Она столько читала о России: Толстой, Достоев-

ский – эти гиганты, тонко анализирующие загадочную русскую душу. Единственное, что сложно понять в их романах – это сюжет, потому что имена героев постоянно меняются. Простое и понятное имя Иван может вдруг стать Ваней, Ванюшей или Ванечкой, или Иваном Васильевичем, или Васильевичем, или вдруг, например, Тимофеевым – по фамилии. Разобраться в этом неискушенному англоязычному читателю невозможно, но зато какая тонкая психологическая канва! И все так трагично, трагично и прекрасно! Она всегда мечтала о поездке в Россию, но все не было времени, и потом эти ужасные перевороты и войны. Это так прискорбно, что в стране с такой культурой нищета и разруха, и до сих пор льется кровь.

Люси ехала из Флориды. В Нью-Йорке, в багажном отделении у нее пропал чемодан. Как выяснилось, чемодан не отправили из Флориды. Чемодан обещали выслать следующим рейсом, прямо в Петербург. Судьба Люсиного чемодана в Петербурге представлялась мне в весьма печальных тонах, – что-то мне говорило, что жизнерадостная Люси больше не встретится со своим кожаным чемоданчиком, хранившим аккуратно сложенные блузки и красиво завернутые в золотистую бумагу подарки для новых русских друзей. Однако Люси казалась ничуть не озабоченной задержкой чемодана.

– Одно лишь тревожит меня – то, что у меня не будет вовремя воды.

– Воды? – не поняла я.

– Я с собой упаковала пакеты с водой. Нас предупредили, что в Ленинграде редко продают воду в магазинах, а вода из-под крана опасна для питья.

Я скрыла улыбку. Люсины слова напомнили мне известную поговорку «Если в кране нет воды...» Улыбка моя была грустной. В словах Люси была правда – в Петербурге, городе на воде, пить воду из крана было небезопасно. Город Пушкина, лишь недавно вернувший своё имя, печально отражался в отравленных водах, не узнавая себя.*

Прелюдия № 10 до-диез минор • Ковчег

Вокзалы. Сумки, лица, залы ожидания. Особой группой беженцы. Бабы с обвисшими грудями и целой охапкой малых ребятишек. Взгляд – не на тебя, а мимо, сквозь туман. Оно и лучше, а то и сглазить могут. Кто их знает, откуда они и куда путь держат. Веет от них древностью да вековой пылью. Темное племя, загадочное. Цыганская начинка. Знахари. Евреи – тоже. Вечные беженцы, вечные странники, космополиты. Распылены по всему свету, а едины. Истреблялись миллионами, козлы отпущения мировой истории, – ан нет, целы. Израиль – золотая шапка, омфал, исток истоков. Мистики. Каббала. Чтение между строк. Култ слова. В начале было Слово. Язык Ветхого Завета – Торы – страшный и прекрасный. Бога не изображать, имя Божьего не произносить – слишком большая энергия – не выдержать смертному. Вечные беженцы. Нет пространства и расстояния. *«Лешана аба БИрушалаим!» – «В следующем году в Иерусалиме», «Разве в Египте не было могил, что ты повел нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?»**

Не это ли «мы» и сохраняет народ, не дает ассимилироваться, раствориться? Извечное стремление определить кто есть кто. Подразумевается, что все великие были евреями. А что, все мы вышли из единой утробы. Адам и Ева, после – Ной с потомками. Все ниточки сходятся в общее начало.

*...И вещи Мойры судьбы нам ткнут.**

Все мы в одном ковчеге. Если уж потонем – так все вместе. Никому не спастись.

Вокзалы. Аэропорты. Взгляды. Взгляды случайных людей, которым нет до тебя никакого дела. Утомляющие, затопляющие сознание. У мужчин-южан взгляд клейкий, раздевающий. После одного такого взгляда нужно ванну принимать – смывать его с себя.

Рекламные вывески. Бравый ковбой в шляпе, верхом на вздыбленной лошади. Кич. Дикая американская романтика. Еще почище, чем в Союзе в двадцатые годы. Ковбои, лошади, подвиги,

пистолеты. Дети, ну просто дети. Оно может и лучше – здоровые эмоции.

Если много странствовать, все страны начинают походить друг на друга, различия стираются, и жизнь превращается в бесконечный аэропорт, наполненный часами ожидания, боязнь куда-то опоздать и хламом, хламом.

Все свое ношу с собой. Что моего? Одежда с чужого плеча или подаренная благодетелями, ноты из библиотеки, деньги из одолженных.

Я никому ничего не должен. Ерунда. С первого крика – родителям за свое появление; докторам – что вытащили тебя, крохотного, из тьмы материнского лона; людям – что не растоптали слабый, абсолютно беспомощный комок жизни. Я – вечный должник.

Когда куда-то едешь, кажется, что все едут. Всеобщее переселение народов. Эвакуация. Громадное количество людей, где никому нет до тебя дела. То есть полнейшее безлюдье.

Еще один перелет. Теперь уже последний – и я дома. Дома? Где дом мой? В России, где я с самого рождения обречена быть чужаком; в Америке, для которой я приемыш; на Исторической родине – в Стране Обетованной, в которой я ни разу не была, в Европе? Где дом мой? В золотистом крае воспоминаний, в обители света и печали – в приюте памяти – в вечном детстве.

Прелюдия № 11 си мажор • Сон разума

*«Когда б твой тайный помысел невинен был,
Язык не прятал слова постыдного, –
Тогда бы прямо с уст свободных
Речь полилась о чистом и прекрасном.»**

– Сапфо – к Алкею (VII в. до н. э.)

В самолете всегда закладывает уши, так что потом еще долго там что-то хлюпает. Папа советовал глотать при посадке. Глотать – слюны не хватит. Леденцы – выход, но все равно закладывает.

Как-то в финском самолете сосед слева всю дорогу ковырял в носу. Не просто ковырял – а основательно, засунув глубоко пальцы и раскорячив ноздри. А при еде облизывал пальцы и ковырял ногтями в зубах. Варвар или вампир? Пару тысяч лет назад он, возможно, погружал руки по локоть в кровь только что убитого медведя и кромсал еще не остывшее мясо острыми когтями, взвизгивая и урча, глядя мутными от голода и вождедения глазами на аппетитные кишки убитого зверя.

*«Давай с тобой полаем при луне...» **

Стюардессы сделаны из металла. Улыбка – одна на всех. Привкус алюминия. У большинства голубые глаза и светлые волосы. Говорят специальные линзы есть, чтобы цвет глаз менять.

Черные – роковые.

Карие – добрые.

Голубые – ангельские.

Зеленые – манящие.

Выбирай любой. Носили бы разные, что ли... Асимметрия сейчас в моде. Как там у Воланда – правый глаз черный и пустой, а правый – зеленый и безумный. Или наоборот. Неважно.

Перед взлетом – короткая лекция на случай катастрофы. Никто не слушает. Бедные стюардессы – одно и то же несколько раз в день. Во сне должно быть им снится: «Запасные люки... на борту самолета... пристегните ремни...»

В случае эвакуации первыми проходят женщины и дети? Тут никто о приличиях думать не станет – бросятся кучей. Животные нравы. Инстинкт самосохранения. Убьют. А скорее всего, и броситься не успеют. Всех ждет одна судьба. Закупоренное пространство. Тот же ковчег.

Тщетная попытка заснуть. От долгого сидения затекают спина и шея. Пытаюсь читать. Время не вычеркнутое и не потерянное, а выпавшее из жизни. Смена часов. Шальные стрелки. Сколько сейчас по-местному? А по-вселенскому? Чистая абстракция.

Арабские цифры. Арабы, восток. Россия – восточная Европа или западная Азия? Ни нашим, ни вашим. Так все-таки запад

или восток? К черту географию. Какой это океан за окном? Смутные имена из учебника географии безликими рыбами проплывающие в мозгу. Да и какие же это страны? – чертеж на картоне. Вероломство образов. Рене Магритт, нарисованная трубка с надписью: «Это не трубка». А что же тогда? Рисунок трубки.

Узнаем предметы, по теням, ими отбрасываемым.

«Сон разума рождает чудовищ...»

Зеркало Дориана – ангел или чудовище?

...И хрусталик щадя,

*Отражает лишь то, что снаружи.**

Прелюдия № 12 соль-диез минор • Нетерпение сердца

Закупоренное пространство. Консервированный воздух. Кислородная маска рядом – на всяк. случай. Но ей лучше не. Вокзалы – мясорубки. Переваривают тоненьких, готовых к употреблению червячков. Ярлыки на чемоданах с именем и адресом владельца. А вдруг потеряется? Что там внутри? Рукописи не сдаю. Флейта?

Тайком разглядываю спящего рядом парня. Эллинский профиль, волнистые волосы, чуть приоткрытый рот, пухлые мальчишеские губы. Тот вздрогнул во сне, пошевелился, почувствовав мой взгляд, облизнул губы, вздохнул, снова заснул. Опустила глаза. Нечистые мысли. А интересно, сколько ему лет? Наверное, ему около двадцати — столько же, сколько и мне. Целовал ли он уже или еще нет, просыпался ли в ночи от жарких видений? На вид совсем еще ребенок. Все мы на вид паиньки. И за что нам это?

В четвертом классе наш класс повели собирать огурцы. В парниках было жарко, мальчики разделись по пояс, а девочки не могли. У большинства ничего еще толком не было, но стыд уже был между нами. И мальчишки не зря подтрунивали, коварно призывая девочек последовать собственному примеру. Испорчен-

ные дети. Ничего не изведавшие, но уже отягченные стыдом. Или бесстыдством.

У меня тогда тоже ничего не было. Совсем ничего – плоско как у мальчика. Я вообще физически развивалась медленно и в классе была самой маленькой. Стыд родился до нас. Откуда? Средневековое ханжество? Эллинское распутство? Римляне. Калигула в костюме Венеры, заседания сената в бане. Это ли погубило Империю? Трещина в сознании. Раскол. И все же – не отсутствие стыда, а его преломление в кривом зеркале истории.

Да, но откуда все-таки пришел изначальный стыд? Адам и Ева. *И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги.**

В чем была их ошибка? В том, что вкусили плод познания? Или же в том, что не были готовы к осознанию добра и зла? Стали ли они мудрее? – Нет, они были не готовы к мудрости. Нетерпеливые. Нетерпение сердца – порок человечества.

*«Сапфо фиалкокудряя, чистая,
С улыбкой нежной! Очень мне хочется
Сказать тебе кой-что тихонько.
Только не смею – мне стыд мешает.»**
Алкей – к Сапфо (VII в. до н. э.)

Трио Ор. 2

I. Танец Евы

II. Между Сатиром и Дон Кихотом

III. Ева и Адам

I. Танец Евы

Вечер. Темно-золотые сумерки. Золотая мгла – мглистое золото сумеречного дыхания растений. Тяжелые от избытка золотистой росы, утомленные чашечки цветов. Дурманящий

сладостный аромат. Аромат немислимый – тонкий и чувственный – невозможного на земле счастья. Счастья естественного, как воздух, еще не осознанного и не названного, а потому еще не утраченного. Наши утраты – единственное, чем мы владеем безраздельно.

Спутанные корни деревьев, темные, морщинистые стволы, почти сплошь покрытые змеистым плющом. Объятие дерева и цветка. Трогательное и совершенное. Не ведающее о своем совершенстве (природа не знает о собственном совершенстве, о нем знают лишь изгнанники, утратившие его). Блаженны нищие духом. Блаженно незнание ребенка, обращающее дни в вечность, а часы – в пустую безделушку на стене.

Вечер. Золотая мгла сумерек. В воздухе слышна флейта. Одна и та же септима – одинокий и странный интервал, повторяющийся и завораживающий. Ей вторит томное бормотание лягушек и шепот листвы. Появляется играющий на флейте козлоногий бог Пан.

Пан явно не хочет быть увиденным – он то прячется в высокой траве, то за стволом дерева, то пятится задом наперед. Флейтовая септима повторяется, то ли зовя кого-то, то ли повторяя один и тот же вопрос, грустный и манящий. На звуки флейты из золотистого сумрака выходит нагая Ева. Ее волосы мокры и тяжелы. Ее волосы мокры и тяжелы от купания в пруду, о близости которого напоминает бормотанье лягушек, да время от времени плеск воды. Евины волосы мокры, тяжелы и темны – сумеречное золото, текущее по нагим плечам и груди. Утомленные росой полузакрытые чашечки цветов источают сладостный и тонкий аромат.

Флейта звучит все настойчивей. Из одинокой септимы, из шелеста листвы, из пресыщенной усталости растений, из томного бормотания лягушек рождается странная мелодия, полная печали не свершившейся утраты. Ева, очарованная, наполненная этой мелодией, повторяет ее своими движениями в странном танце, непредсказуемом и переплетающемся с флейтой, с расте-

ниями, с мглистым золотом сумерек в единое целое. Флейте вторят цветы, поющие на дурманящем языке аромата.

Движения Евы становятся все более порывистыми – в танце, завороченная флейтой, она приближается к месту, откуда доносятся чудесные звуки – к покрытому плющом дереву, под которым прячется козлоногий бог Пан. Флейта перекликается с движениями Евы – пассажи – со скачками, трели – с вращениями, паузы – с замираниями. Тело Евы молодое и гибкое, цвета золотой пшеницы, пшеничного золота, повторяет, как зеркало все изгибы, взлеты и падения мелодии. Это первородный союз музыки и танца.

Танцуя, Ева приближается все ближе и ближе к обвитому плющом дереву, куда ее заманивает козлоногий бог Пан. Грудь ее тяжело дышит. Флейта смолкает. Ева останавливается. Воздух полон дыханием растений. Прямо за Евой, положив ладони ей на плечи, встает Адам.

II. Между Сатиром и Дон Кихотом

Золотые вензеля на тяжелом маятнике старинных настенных часов в темной деревянной оправе с башенками. Латинские буквы на маятнике – формула Времени – не живого, но существующего. Рядом – маска рогатого Сатира. Тоже черно-золотая, со страшной и нелепой гримасой – вытарщенные глаза и оскал с двумя клыками. Сатир прикреплен к деревянному карнизу для газет на стене. Внутри у Сатира новости дня – пожелтые газеты и открытки – сиюминутные облики Времени. Под часами – трехногая тумбочка, пахнущая кремом для ботинок и клеем. По ее краям – два кресла-вертушки, разодранные котом и впоследствии уступившие место золотистым плетёным стульям из спальни.

Сатир с открытым ртом косится на стоящего в углу у зеркала бронзового Дон Кихота в доспехах и с книгой в руке. В зеркале, величиной во всю стену, как в пруду, плавает отражение

лампы в виде старинного фонаря, спускающегося на короткой бронзовой цепочке с потолка. Золотистый паркет, золото латинских вензелей на маятнике, золото рожек Сатира переплетается с бронзой Дон Кихота и темным деревом трехногой тумбочки и оправы часов. Сумрак прихожей. Лампа-фонарь льет темно-золотой свет, скудно освещающий предметы. Часы бьют пять.

Часы – самые старшие в квартире. И по возрасту, и по чину, и по положению – высоко на стене. Рогатый Сатир напыщенно косится на Дон Кихота. Сатир на стене ниже часов, но выше Дон Кихота, стоящего на маленькой подставочке на полу возле зеркала. Дон Кихот, ростом почти с меня, не обращая внимания на рогатого Сатира, печально смотрит в свою книгу. Кольцо для шпаги пусто. Шпага похищена и потеряна мною давно.

Я стою посреди прихожей, наблюдая за котом Косем, который, в свою очередь, наблюдает за мной. Ситуация далеко не безобидная, учитывая то, что кот Кось находится в откровенно раздраженном состоянии духа и ищет на ком бы сорвать злость. Хвост его воинственно поднят и шевелится волнами как вражеское знамя на ветру.

Кось смотрит на меня не мигая (говорят змеи не мигают) и медленно приближается малюсенькими шагками. Лапы его полусогнуты – мягкие лапки с преострыми когтями – бесшумные и неспешные. Я такими же маленькими шагками пячусь назад, не в силах оторвать глаз от двух холодных черных точек в зеленых омутах кошачьих глаз (глаза Кося – гордость семьи). На кухне женщина с голосом моей мамы говорит что-то женщине с голосом моей няни. До кухни далеко, а Кось близко. Все возможные варианты капитуляции мелькают в моем мозгу, но я тут же понимаю их безуспешность.

Кось понимает это не хуже меня. Он не торопится и почти полностью останавливается. Может, пронесет? Нет, это лишь отвлекающий маневр. Я останавливаюсь тоже и в тоске смотрю на Дон Кихота. Где же его шпага? Сатир усмехается и скалит клыки.

Я выпрямляюсь, пытаюсь сохранить последние капли достоинства и выглядеть как ни в чем не бывало. Кось видит это и угрожающе стучит хвостом по полу. Хвост его волнами перебирается с одной стороны на другую, как маятник. Я завороченно смотрю на него, механически считая удары хвоста. Сердце мое прыгает где-то у горла. Отступать мне дальше некуда. Я слишком хорошо понимаю, что сейчас произойдет. Мой вопль разрывает воздух за мгновение до кошачьего прыжка. На помощь мне из кухни спешат мама и няня. Я, потрясая окровавленной рукой, облегченно реву. Кот, презрительно фыркнув, высокомерно удаляется.

– Ну прекрати, ведь сама же кота раздразнила, – говорит мама, замазывая царапину йодом, от которого вся прихожая наполняется запахом аптеки. Это несправедливо, но я молчу. Я – человек, кот – животное. Мы не равны. Я – изначально виновата. Молча разглядываю темно-золотистые бронзовые узоры на руке.

...А часы все идут. Рогатый Сатир по-прежнему косится на Дон Кихота. Дон Кихот читает свою книгу. Бронзовый фонарь плавает в зеркале. Золотые латинские вензеля на маятнике – формула Времени. Не существующего, но живого. Я, свернувшись калачиком на кресле-вертушке, внимательно смотрю на своего зеркального двойника. Я, из сиюминутного сейчас (из времени, когда пишу эти строки), стою в сумраке Зазеркалья, внимательно глядя в глаза маленькой девочки с перемазанной йодом рукой, свернувшейся калачиком на кресле-вертушке в сумрачной прихожей.

III. Ева и Адам

Стайка маленьких пестрых птиц пересекает небосвод. Птичья трогательная суетность – щебетанье и полет – тоже жизнь. Птицы перелетают с куста на дерево, сливаются с листвой. За Евой, положив ладони ей на плечи, встает Адам.

Бог Пан, перестав играть, отступает в заросли. Оттуда вскоре снова раздастся печальная септима флейты – то ли вопрос, то

ли жалоба. Ева прикасается ладонями к рукам Адама, встряхивает головой, отчего ее волосы – темно-золотой ручей, исходят волнами, и оборачивается.

Адам и Ева, оба нагие, как дети, первые дети земли, смотрят друг на друга в обрамлении золотистой мглы сумерек. Адам опускает руки с Евиных плеч и тихонько трогает ее мокрые волосы – с любопытством и улыбкой. Евины волосы еще не высохли от купания в пруду, о близости которого напоминает кваканье лягушек, да время от времени плеск воды.

Полузакрытые, утомленные влагой, чашечки цветов источают дурманящий, сладостный аромат. Ева поднимает на Адама свои прекрасные глаза с рыжими, пушистыми ресницами. Невинные, упрямые, бесстыжие (без-стыжие, без-стыда, еще не знающие стыда) глаза, и вдруг неожиданно отпрыгивает в сторону, Адам повторяет ее прыжок. Это сигнал к игре «Делай, как я!». Ева подносит ладонь к лицу Адама и, не дотрагиваясь до него, проводит рукой вдоль шеи и плеч. Адам, как зеркало, повторяет Евины движения. Снова звучит флейта. Это Пан, устроившись на толстой ветви дерева, печально наблюдает за игрой Адама и Евы. Крючковатые пальца его бережно держат хрупкий инструмент, козлиные ноги поджаты, а губы ласково водят по круглым отверстиям флейты, выдувая нежные и томительные звуки.

Игра Адама и Евы становится все более страстной. Они попеременно меняются ролями, выдумывая на ходу все новые правила, пока наконец, устав от прыжков и ласк, Ева садится на мягкую траву и прислоняется к покрытому плющом дереву. Адам ложится рядом, кладет голову ей на колени. Золото воздуха растворяется в наступившей ночи. Чашечки цветов теперь закрыты – цветы заснули до утра, во сне продолжая источать чувственный и нежный аромат. Адам засыпает. Ева, тихонько

поглаживая его волосы, смотрит, полуприкрыв глаза, на темные листья дерева, сквозь которые видны огромные, как в детстве, звезды. Стайка птиц поднимается с дерева и улетает в глубь джунглей – на ночлег. Ночь.

ЧАСТЬ III • РЕКА УТРАТ

Прелюдия № 13 фа-диез мажор • Река утрат

«...И сладок нам лишь узнаванья миг.»

– Осип Мандельштам

Невозвратимостью утраты сладка отрава памяти. Яд – лучшее лекарство. Лекарство от. От безумия. От бездумья. От безумия бездумья окружения. Окружение (как в военном положении). Окружение – сужение западни. Лекарство – приторная патока. Не бегство от, а нахождение себя в лабиринтах памяти.

Работа археолога – в осколках видеть дворцы и по скупым приметам восстанавливать прошлое. В достояние настоящему. Быть сему должно, хоть хлопотно и сложно. А иначе – нельзя. То есть, конечно, можно – отдать прошлое забвению – пусть мхом небытия порастет. Но это – от нищеты и варварства.

Тропа поэта – в руинах услышать струны первозданной мелодии. Все – музыка. *В начале было слово.** Музыка – речь. Речь, еще не назвавшая себя, не осознанная, а потому и не утерянная. В начале была музыка. Ею был создан мир. На таинстве утраты, на таинстве, ибо утрачивая, но не теряя; утрачивая, но восполняя и приобретая; – на таинстве изначальной мелодии утрат рожден был этот мир. И до рождения была утрата. Ибо рождение – это утрата. И бесконечная нежность этой утраты, утраты дарующей, утраты дарящей, утраты от избытка; это нежность, нежность отдачи и есть гармония сил, на которых держится этот мир. Наши утраты – единственное, чем мы владеем безраздельно. Память – река утрат, утраченных мгновений, дней, лет, навсегда канувших во всеобъемлющее Прошлое.

Прелюдия № 14 ре-диез минор • Каменная опухоль

Я спускаюсь по лестнице в школьную раздевалку. Сзади на меня кто-то налетает, хватает мой ранец и отшвыривает в сторону. Из него высыпаются ручки, карандаши, тетради. Старшекласники,

рвущиеся в раздевалку, чтобы потом – ура! – на свободу – бегут сплошной неконтролируемой лавой. Я ползаю, пытаюсь подобрать выпавшие бумаги и учебники, об меня спотыкаются, пихают – (затопчут или не затопчут?) – гогочут и ругаются, – только чтобы руки не покалечили. Собрав тетрадки, я пытаюсь подняться по лестнице к выходу, но меня сбивает с ног новая лавина школьников, рвущихся вниз. Гребу против течения. Символ моего школьного выживания.

Школа. Каменный муравейник. Каменная опухоль. Творение не разума, но большого рассудка. Кошмарная пародия на взрослый мир, на тюрьму каменного четырехугольника, из которого не вырваться, пока не вырастешь, пока тебя не сошлют в другой такой же четырехугольник – на работу – теперь уже до старости, когда от нехватки сил и здоровья ты не запрешься в четырехугольнике собственной комнаты, из которой в один день тебя вынесут в четырехугольном ящике и выбросят в землю, как вещь, от которой нет никакого прока.

И земля тебя поглотит, словно и не было тебя на свете. Деревья все так же будут шелестеть листвой, птицы петь, а облака толкаться ватными боками.

Прелюдия № 15 ре-бемоль мажор • Облако

Максимка, сын тети Марины (подруги моей мамы), с которым мое детство так же неразрывно связано, как и с сиамским котом Косем, чугунным Дон Кихотом с потерянной шпагой и златоклыким Сатиром; Максимка уверял меня, что однажды он забрался высоко-высоко на вершину горы – так высоко, что сумел дотянуться до проплывавшего над горой облака. В доказательство своих слов Максимка показывал мне ладонь, которой он прикоснулся к облаку.

Максимке никто не верил.

– Облако – это воздух, туман, его нельзя потрогать рукою, – смеялись дети в нашем классе, рожденные в век нигилизма и общеобразовательного обучения. Я же Максимке верила, и для меня навсегда он остался Избранным, кому даровано было прикоснуться к Недосягаемому.

Школа. Каменный муравейник. Я стою на четвертом этаже на перемене и смотрю вниз. Завитушки лестниц с бегающими человечками. Если смотреть прямо в лестничный проем – напоминает большой колодец с черной дырой подвальной раздельки внизу. Серые каменные стены, полы, потолки. Тюрьма или больница? А что, если спрыгнуть? Мысленно представляю, как в замедленной киносъемке, свой недолгий полет.

*«Полетите вы с крыши на чердак.»**

Крики уборщиц и вахтерш, учителей, ребят.

– Увести всех детей. Не подпускать!

Те, кто пошустрее, те еще увидят, – маленькие звери, сладены до кровавого месива (говорят, в Испании на корриду с детьми ходят) – будут потом другим описывать, сочиняя на ходу для пущего эффекта кровавые ужасы: «А рука заломлена, череп раскололся, из него какая-то жидкость темная – не то кровь, не то мозги...»

Те слушают, завидуя рассказчику, смакуя детали. Варварское пиршество, зачин всевозможных вариаций на заданную тему. Тут уже всякий может участвовать: Дух погибшей ученицы в образе привидения приходит к директору школы – мадам Псаревой (по кличке Псина) – и щекочет ее до смерти.

*...Замучен тяжелой неволей...**

Все мы тут заложники, отбывающие пожизненное заключение. Десять лет детства – длиною в жизнь.

Прелюдия № 16 си-бемоль минор • Пожизненное заключение

Первое сентября. Мне шесть лет. Школа, которая еще вчера была недостижимой мечтой одиноких дней, проведенных на старинных, покрытых листвою, плитах кладбища, куда меня гулять водила няня; школа, представлявшаяся мне раем, в котором мальчики в голубых костюмчиках и девочки в коричневых платьицах с белыми фартучками (форма, которую, к моему удивлению, как позже я узнала, носили служанки в прежние века), держатся за руки и поют счастливые песни; школа, в которую я упросила родителей отдать меня раньше срока – я в классе была самой маленькой – школа, наконец, становится реальностью.

Я стою в толпе сверстников, таких же счастливых и торжественных, как и я, держа в ладошке руку Максимки, с которым суждено нам просидеть вместе за одной партой в течение последних семи лет, пока дороги наши не разойдутся: моя – за моря-океаны в США – «страну капиталистических акул», а его – в Израиль, с которым Советский Союз уже давно разорвал дипломатические отношения.

Впрочем, дороги наши разойдутся задолго отъезда. Близкие друг другу в раннем детстве, под влиянием школы дружба наша превратится из открытой – в потайную, скрытую от посторонних взглядов, а после – сама по себе прервется – слишком много было вместе прожито, слишком много связывало нас. Память детства – непосильная ноша.

Оба, будучи единственными евреями в классе, болезненно реагировали на взращиваемое учителями «созревание национального сознания» в наших одноклассниках. Максимка, услышав слово «еврей», моментально лез драться. В нашем сознании «еврей» было одно из наихудших ругательств, а быть евреем означало разделять стыд и клеймо еврейства. Узы стыда – это узы любви. Союз посвященных, объединенных причастностью к Тайне. Тайне прикосновения к облаку, тайне младенчества,

тайне столь дорогой, сколь непосильной – тайне утраченного детства.

Но об этом пока мы не знаем. На плечах у меня оранжевый лакированный ранец с черной бабочкой, подаренный мне накануне тетей Вале́й, папиной сестрой. Позади – бурное утро, когда мама, устроив мне небольшой экзамен на знание арифметики, дабы я не уронила престиж семьи (школу, в которую я иду, только что с отличием закончил мой брат); мама, бедная моя мамочка, с ужасом обнаружила, что моя арифметическая логика совершенно не совпадает с общепринятой. Позади – платяной шкаф в кладовке, пропахший кожей и нафталином, бесконечные болезни, перетекающие в сны, сны в дни, а дни – в болезни.

Впереди – неизведанное, немислимое будущее. Моросит сеньский сентябрьский дождик. Я ловлю капли на кончик языка и, глотая их, ощущаю странное чувство, от которого щиплет глаза и горчит в гортани. И жизнь – прекрасная, непредсказуемая, чудотворная – как облако на вершине горы, вместе с дождевыми каплями, вместе со слезами няни (Боже, как быстро ребенок растет – вот уже в школу идет) проникает и переполняет меня. Я догадываюсь, что это первое крупное и долгожданное изменение в моей жизни связано с утратой прежней свободы, и утрата эта мне еще более дорога, чем достижение давней мечты.

Прелюдия № 17 ля-бемоль мажор • Достижение мечты

Чьими глазами я смотрю на мир? Глазами себя из прошлого, глазами сегодняшними, или же оглядкой будущего?

На третьем этаже каменного муравейника школы святая святых – учительская, где царит мадам Псарева, и в классных журналах неумолимо накапливается информация о каждом ученике. На стене, над серо-голубой неизменной полосой, большой портрет Ленина и географическая карта страны.

Как-то летом, во время ремонта, в учительской, в которую в обычное время вход лежал за семью печатями, Л. Н. давала мне

и Максимке урок английского языка. Сдвинутые в угол столы, запах свежевыкрашенных стен, сквозь окно в комнату проникает летний пыльный луч солнца. Максимка протирает о пиджак очки и щурится на луч. Без очков он сразу выглядит по-детски беззащитным.

– Did you go to the sea last summer? – спрашивает Л. Н., водя пальцем по строке учебника.

– No. I never seen sea, – отвечаю я на ломаном английском.

– Ты никогда не видела моря? – изумляется Л. Н., переходя на русский.

– Нет, – отвечаю я, краснея.

Моя тайная мечта о поездке на море неосуществима – маме противопоказан жаркий климат. Маме, как Снегурочке, нельзя быть на солнце. Ярило,* начало начал, враг мой. Море – мечта детства. Двенадцать толстых зеленых томов Жюль Верна, проглоченных от корки до корки, плюс ненавистный мне Граф Монте-Кристо, плюс на море-океане – острове Буяне, плюс Царевна Лебедь, Пушкин и древний Арго с аргонавтами.

Впервые увидела я море в шестнадцать лет – в 1990 году в Ленинграде.

– Это не совсем море, это лишь залив, – объяснила мне мама.

Оказалось море бело-желтым от испражнений какого-то завода, мусор плавал на поверхности, но все равно, это было первым моим морем, и я тайком бросила в его волны монетку, чтобы вернуться. И бездна пролегла между 90-м и 91-м годами, когда я впервые увидела океан в Нью-Йорке.

Но ни синий Атлантический океан Нью-Йорка, ни желтые волны Ленинградского залива, не были настоящим морем. Настоящим оно было лишь в моих детских фантазиях. Лишь идея о море была настоящей, море реальное оказалось дурной копией с блистательного оригинала.

Море моих мечтаний было сине синевой истинно синей, недостижимой самому заповедному краю земли, самому искусному художнику; оно было огромное, без конца и края, как

земля до сотворения Создателем суши; и встреча с реальностью была отравлена ностальгией. Ибо достигнуть давнюю мечту – это такое же поражение, как и не достигнуть. Любое достижение – это прежде всего утрата, отравленная ностальгией и погребенная под каменными плитами памяти.

Прелюдия № 18 фа минор • Вариации на тему ностальгии

Мне четыре года, и я уже хожу в музыкальную школу. Мне полагается заниматься на фортепиано и готовиться к урокам. За занятия мои отвечает няня Марианна, манкирующая этой обязанностью и вообще недовольная тем, что дитя «мучают с колыбели.» Вместо скучных упражнений Ганона* и гамм, я импровизирую за фортепиано, пользуясь тем, что Марианна не разбирается в музыке.

Это раннее творчество было для меня запретным плодом, способом отлынивать от настоящих занятий. С тех пор, в подосзнании, творчество так и осталось чем-то запретным и сладостным, сговором между мной и роялем – союз соучастников, с тайной оглядкой на взрослых.

Почти все мои импровизации имели в себе литературную основу. Наиболее частой была тема моря. Думаю, причиной была прежде всего «Шахерезада» Римского-Корсакова – пластинка, заигранная мной вместе с «Монтекки и Капулетти» Прокофьева и Шестой симфонией Чайковского, под музыку которых я танцевала, дирижуя в экстазе воображаемым оркестром.

Как правило, море моих импровизаций начиналось с волн до-минорного арпеджио, вздымающихся от самого низкого регистра до самой высокой ноты и затем ниспадающих вниз. Потом шла тема светлого корабля «...*А он, мятежный, просит бури...*»* под аккомпанемент триолей волн – все того же до-минорного трезвучия в левой руке. Затем случалась буря – девятый вал Айвазовского,* в течение которой нажималась педаль и

всевозможные глиссандо (молнии) и диссонансы в виде уменьшенных или увеличенных трезвучий (штормовые волны) обрушивались на одинокий светлый корабль. В кульминации звучала искаженная трагическая тема гибнущего в буре корабля.

Наконец, корабль тонул в пучине и звучал погребальный колокол, после чего все стихало и возвращалось к началу – медленные восходящие и спадающие волны-трезвучия – море, равнодушное к свершившейся драме. В самом же конце, уже не в силах сдерживать слезы от переполнявших меня чувств, я играла в запредельных облаках самого высокого регистра тему погибшего корабля – как отзвук памяти. И с последним аккордом погребального колокола я, потрясенная глубиной и красотой трагедии, развернувшейся под моими пальцами, заливалась сладкими слезами невыразимой ностальгии по совершенству.

...И иногда мне кажется, что вся западная культура – не что иное, как бесконечные вариации на тему ностальгии. Ностальгии по детству, ностальгии по временам, когда все было по-иному; ностальгии по золотому веку человечества; ностальгии по блистательному оригиналу невыразимой синевы моря фантазий, несравнимому с тусклой копией всех последующих реальностей; ностальгии по утраченному раю, еще не разделенному на добро и зло, где, как в младенчестве слово «я» – еще не обособлено, где мир истинных чувств и цветов, где все – свет, где все – едино и первично.

Трио Ор. 3

I. На Краю Света

II. Я рисую разноцветных человечков

III. Пробуждение Скептика

I. На Краю Света

Далеко на Краю Света стоит ветхая хижина с земляным полом и крышей, сплетенной из гибких ветвей рядом растущего кустарника. В хижине этой уже тридцать лет живет Отшельник-мудрец вдали от людей и цивилизации. Пьет он родниковую воду, питается дикими ягодами и горькой травой, проводя дни свои в размышлениях и молитвах.

Как-то раз на Краю Света забрел Скиталец, путешествующий по земле в поисках ответа на вопрос, мучающий его всю жизнь. Увидев Отшельника-мудреца, Скиталец обратился к нему.

Скиталец: – О, мудрый Отшельник, прости, что нарушаю твой святой покой. Я брожу по земле в поисках ответа на вопрос, мучающий меня. Ты мудр, и все, верно, знаешь. Скажи, что такое счастье?

Отшельник: – Я этого не знаю.

Скиталец: – Но ты же счастлив, да? Глаза твои светятся покоем.

Отшельник: – Возможно.

Скиталец: – В чем же твое счастье?

Отшельник: – Счастье для меня в самосовершенствовании.

Скиталец: – А что такое самосовершенствование?

Отшельник: – Самосовершенствование – это преодоление соблазнов.

Скиталец: – Каких соблазнов?

Отшельник: – Всего, что отвлекает меня от молитв. Я ем горькую траву, пью родниковую воду, я живу вдали от людских страстей и целиком посвящаю себя Богу.

Скиталец: – Но ведь если нет вокруг соблазнов, то нечего и преодолевать. Разве в этом счастье?

Отшельник (задумавшись): – Возможно, что счастье в отказе от удовольствий.

Скиталец: – Но часто люди считают, что удовольствия – это и есть счастье.

Отшельник: – Это заблуждение. Удовольствия и счастье – это часто противоположные понятия. Современная цивилизация построена на культе удовольствий. Поэтому люди так несчастны.

Скиталец: – Но в чем же основная разница? Как отличить одно от другого?

Отшельник: – Главная разница, пожалуй, в том, что удовольствия основываются на желании «получить», а счастье – на желании «дать». Лишь отдавая, но не теряя; отдавая, но восполняя, мы можем расслышать божественную мелодию утрат, которой рожден был этот мир.

Скиталец: – Я не философ, я просто скиталец. Когда я устаю, я ложусь на траву и смотрю в небо; тело мое отдыхает – от отдыха я получаю удовольствие и набираюсь сил. Я брожу уже многие годы, но никогда не перестаю удивляться красоте: вид распустившегося цветка, узор на камне приятны моим глазам и доставляют мне удовольствие. Когда я голоден, простой картофель и хлеб кажутся мне вкуснее самых изысканных яств; когда я захожу в Храм и слушаю музыку – я чувствую себя счастливым. При этом я не испытываю желания «отдать». Если счастье – это желание «отдать», а удовольствия – от лукавого, то как же объяснить это чувство счастья от простых радостей бытия?

Отшельник: – То, что ты, Скиталец, описываешь, это не удовольствие, а благодарность. Отдых в минуту усталости, хлеб для голодного, музыка и красота для страждущего – это счастье

благодарности. Попроси – и дано тебе будет. Если желания у тебя настоящие, а не ложные. На все воля Господня.

Скиталец: – Я скиталец, я странствую по земле в поисках счастья. Я видел много людей, молящихся Богу на разных языках, молитвами разных религий. Сам я верю в то, что Бог – один, а путей (религий и молитв) к нему множество. Нет религий плохих и хороших. Есть только люди, их действия и мысли. Вот ты, отшельник, всю жизнь проводящий в счастливых молитвах, скажи, что означает для тебя Бог?

Отшельник: – Бог – это любовь.

Скиталец: – Это говорят многие, но что это означает?

Отшельник: – Возлюби соседа, как самого себя.

Скиталец: – Для этого нужно любить самого себя, а это не просто.

Отшельник: – Возлюби образ Бога в себе. По образу и подобию своему.

Скиталец: – В мире подобий уловить контуры божественного оригинала и услышать первозданную мелодию?

Отшельник: – Именно. В мире подобий уловить контуры божественного оригинала и услышать первозданную мелодию. Соприкосновение с оригиналом и есть истинное счастье.

Скиталец: – Как же этого достичь?

Отшельник: – В истинном экстазе, истинном самоотречении, в истинном растворении собственного «я» в молитве, в музыке, в красоте, в доброте.

Скиталец: – Ты повторил слово «истинном» три раза, но как узнать, что в этом мире истинно, а что – нет. Как не ошибиться?

Отшельник: – Слушай сердце, не знающее логики, но знающее истину.

Скиталец: – А если слишком много шума и сора накопилось в душе и страшно довериться сердцу?

Отшельник: – Запомни, Скиталец, – нет «плохого» и «хорошего», все случайности не случайны. Не существует правильного и

ошибочного, но есть некая «истинная истина» – это Божий свет, дарованный душе. Этот свет всегда в нас, и если мы его не видим, нужно лишь открыть глаза сердца – и довериться ему.

Скиталец садится на траву возле хижинки и задумывается, закрыв глаза. Отшельник-мудрец уходит в хижину и притворяет неплотно дверь.

II. Я рисую разноцветных человечков

Я рисую разноцветных человечков. Рядом с человечками – коричневый дом с окошком. Над домом – солнце и луна одновременно с голубыми облаками и большими звездами. Из трубы дома поднимается к солнцу дым – там, очевидно, готовится Аличкин «тёртый торт». Вокруг дома – трава. Каждую травинку я вырисовываю отдельно. Между травинками – разноцветные, как человечки, и большие, как звезды, цветы. Человечки танцуют и смеются.

Я сижу с ногами в кресле. На стене – огромная магнитная шахматная доска с начатой партией. За большим столом напротив шахматной доски днями напролет занимается мой брат Игорь, готовясь поступать в неприступную Москву.

Няня моя, Марианна, сидя на табуретке на кухне, вяжет из старых лоскутков круглые коврики. Я слышу, как она разговаривает по-польски с котом Косем, единственным ее слушателем, делясь воспоминаниями молодости. На ней черный фартук, завязанный сзади узлом, который я, уловив момент, всегда развязываю, уворачиваясь от шлепков.

Я рисую разноцветных человечков и улыбаюсь. Человечки мои – самые счастливые на свете. Они танцуют и тоже улыбаются от уха до уха – самой счастливой улыбкой. Солнце – желтое, желтизной новорожденного птенца, луна – голубая, танцующие человечки счастливы, а из трубы тянется к солнцу аромат аличкиного тертого торта. Большие звезды отражаются в цветах на лужайке перед домом. Я бегу со своим рисунком к маме:

– Мамочка, посмотри!

Мама, взглянув на рисунок, спрашивает:

– Почему они у тебя дерутся?

– Кто? – не понимаю я.

– Человечки. Разве они не дерутся? Тогда почему у них такие злые гримасы? И дом, посмотри, клонится – сейчас обрушится. И потом, луна и солнце не могут быть вместе на небе.

– Это не гримасы, они не ссорятся, а наоборот; и дом не рушится, а летит; а луна вышла замуж за солнце и теперь они могут вместе жить на небе! – я чуть не плачу.

– Ах, вот как... Ну, тогда понятно, – примирительно соглашается мама, видя, как я расстроена.

Но меня не проведешь. Как же это так, как могла мама, увидев моих танцующих человечков, решить, что они дерутся? Я смотрю на рисунок, мне он кажется прекрасным, как никогда: желтое солнце, голубая луна, звезды, цветы и счастливые человечки.

Я забываю о рисунке, но через несколько дней, перелистывая альбом, обнаруживаю его. Разноцветные человечки с уродливыми щелями ртов – от уха до уха, с гримасами не то злости, не то досады, застыли в нелепых позах – дерутся, или ссорятся. Коричневый дом покосился – вот-вот на них обрушится. Из трубы черный дым упирается столбом прямо в солнце. Колючая трава, как иголки, между которыми разноцветные кляксы подразумевают собой цветы. На небе висит совершенно неуместная голубая тарелка, обозначающая луну и большие остrokонечные загогулины, вместо звезд.

В ужасе я разглядываю рисунок. Куда делся мир чудесных танцующих человечков со счастливейшими улыбками? Эти гротескные чудища не имеют к ним никакого отношения. И все же это было моим рисунком. Что же произошло?

Я безутешно плачу, слезы мои расплываются на бумаге разноцветными кляксами, и мир счастливых человечков, не имеющий

ничего общего с моим рисунком, уплывает по реке утрат к берегам памяти, чтобы быть спасенным памятью в своем перво-зданном свете.

Только детям дано плакать над истинными трагедиями.

III. Пробуждение Скептика

Скиталец сидит, глубоко задумавшись, перед хижинкой Отшельника-мудреца.

Скиталец: – Я слышу чей-то голос. Кто это? Ах да, это во мне проснулся Скептик.

Скептик в Скитальце: – Как я вижу, ты склонен верить этому нищему старику, живущему на Краю Света.

Скиталец: – А что в этом такого?

Скептик в Скитальце: – Ты говорил с высшими мира сего, с королями, президентами, генералами – и склонен верить нищему философу, в коем нет никакого прока?

Скиталец: – Ни один из тех, кого ты называешь «высшими мира сего», не был счастлив. Одни хотели иметь больше денег, другие – власти, одни – покоя, другие – войны. А прок есть в любви божьей твари, даже в несчастном скитальце, ищущем счастья.

Скептик в Скитальце: – Замечательно! Какой же прок потвоему, в отшельнике?

Скиталец: – Нам не дано знать истинного значения ни мыслей, ни поступков, ни людей. Кто знает, может, его молитвами держится этот мир? Молитвами счастливого человека?

Скептик в Скитальце: – Счастливого человека... Это не счастье, а самообман.

Скиталец: – Я видел достаточно самообманов в этой жизни. Глаза его светятся покоем.

Скептик в Скитальце: – Покой в побеге от реальности?

Скиталец: – А что ты называешь реальностью?

Скептик в Скитальце: – Для меня реальность – это мир, это люди во плоти и крови со всеми их достоинствами и недостатками, а не воображаемый загробный мир идей. Побег от реальности – участь труса.

Скиталец: – А где же в твоей реальности место душе?

Скептик в Скитальце: – А вот этого я не знаю, и знать не хочу. Душа и Бог не вписываются в логику сего мира.

Скиталец: – Значит, по-твоему, они не существуют?

Скептик в Скитальце: – Я не знаю. Я могу судить лишь о том, что знаю и могу проверить. Спекулировать на темы, которые не подтверждаются доказательствами, считаю безнравственной потерей времени.

Скиталец: – Печален и убог твой мир.

Скептик в Скитальце: – Это лучше, чем поддаваться ложным надеждам.

Скиталец: – Как же, по-твоему, узнать, что ложь, а что настоящее?

Скептик в Скитальце: – Зло – это то, что противоположно добру, ложь – то, что противоположно правде.

Скиталец (прерывая Скептика): – Скажи, ты когда-нибудь видел в природе что-нибудь совершенно черное или совершенно белое?

Скептик в Скитальце (сбитый с толку): – О чем ты говоришь? Снег – белый, земля – черная.

Скиталец: – Снег какой угодно, но не белый. Снежинки отражают все цвета радуги.

Скептик (прерывая Скитальца): – Я знаю лишь то, что знаю. Я завидую тем, кто клюет на красивую сказку о бессмертной душе и всепрощающем Боге. Так жить легче, но я слишком честен.

Скиталец: – Жить, веря в истинную истину, не легче, а труднее, ибо истина эта ведома не логике ума, а нашепту сердца. Ты, Скептик, молчи, ибо ты разочаровался в себе, в жизни и в людях. Разочарование – это поражение. Лишь очарованным,

блаженным мира сего даровано Царство Небесное. Остальным – грустный удел жизни в мире подобий. Потерпеть поражение и стать скептиком легче всего. Уйди, Скептик, слова твои ложны, веет от них холодом логики, тления и бездны небытия.

Скептик : – Хорошо, я-то уйду; да ты не забудь вернуться к своему Отшельнику-мудрецу – расспросить его о женщинах и любви. Уж он-то тебя научит. У него, видать, много опыта в этой области, то-то он от людей сторонится.

Скептик падает с Края Света и исчезает.

Скиталец (поднимаясь на ноги и кланяясь ветхой избушке на краю света): – Спасибо тебе, мудрый Отшельник. Прости меня за Скептика – слишком много разочарований на моих плечах, слишком силен соблазн неверия; но я – верю и ныне продолжу путь по земле, стараясь в самом себе и в каждом встречном увидеть божественный отпечаток и расслышать первозданную мелодию Сотворения. Уходя, я прощаюсь с тобой, мудрый Отшельник, но свет твоих слов остается со мной. Это еще одна утрата в реке утрат, именуемой жизнью. Это утрата дарующая, ибо утрачивая, я не теряю, но восполняю и приобретаю. На таинстве этой изначальной мелодии утрат рожден был этот мир. И узнавание этой мелодии, умение передать ее красоту, чтобы поделиться ею с другими – не есть ли истинное счастье?

ЧАСТЬ IV • НИТЬ АРИАДНЫ

Прелюдия № 19 ми-бемоль мажор • Город детских кубиков

*«Да, я еще живу. Но что мне в том,
Когда я больше не имею власти
Соединить в создании одном
Прекрасного разрозненные части.»**
– Георгий Иванов

Конец тысячелетия. Нью-Йорк. Идет снег. Как хотелось бы мне встретить новое тысячелетие, XXI век? В своей комнате, за роялем, сочиняя. Скорее всего при свечах – на случай, если отключат электричество. Во время снегопада тишина особенная – торжественная.

...Опять не то! Романтика. Романтика от безнадежности и безденежья. Как в кино. Как странно, всю жизнь панически избегая фальши и банальности, обнаруживать себя за просмотром слащавой чуши на экране со слезами на глазах (настоящими слезами) и бьющимся сердцем. Увы, лишь самые затасканные слова содержат правду, способную еще потрясать сердца.

За окном вьется и плещется этот немислимый город, как гигантский аквариум с доисторическими чудищами небоскребов, обреченный и отреченный. Маленький остров, вобравший в себя самые фантастические судьбы, современная Мекка без жестства – остров Манхэттен, колющий небо шпилем Здания Империи и толкающий облака головами Башен-Близнецов.

Нью-Йорк, Нью-Йорк – с его склизкой летней духотой и зимними ураганами; с вечно-изменчивым, драматичным, как на картинах лубочных художников, небом; с улицами-меридианами и перекрестками, на которых шальной осенний ветер танцует с окрыленную газетой, с фыркающими лошадьми в Центральном Парке, головорезами-таксистами, грузчиками и мотоциклистами, с его продавцами бэйгелов – Нью-Йоркских бубликов, обязательно из окошка грузовика, обязательно с обжигающим кофе – обряд еды на бегу, в такси или в метро, с утренней, сло-

женной вчетверо газетой, еще пахнувшей типографскою краской, – священен, как любая традиция.

Что такое Нью-Йорк? С самолета – город разбросанных детских кубиков, со Здания Империи – громадное чудовище с блестящими чешуями дорог и трепещущих огней. Ошеломляющий, отпугивающий, манящий... Архитектура, определяющая суть города, – яркость контрастов, манию величия и дурманящий дух свободы. Манхэттен – губка, вобравшая в себя и духовную элиту и преступность, роскошную Пятую Авеню и руины Гарлема, прекрасный Центральный Парк и калейдоскоп небоскребов, карабкающихся друг на друга.

Пестрая, разношерстная публика. Озабоченные китайцы, продающие «печенье удачи» – «форчин кукис» – с бумажкой, пророчащей вам успехи на любовном фронте и финансовую стабильность. Несмотря на пророчества, и то, и другое является, пожалуй, здесь единственным дефицитом; печальные индусы на станциях метро, отбивающие ритмы на своих немислимых инструментах; вежливые японцы; певучие итальянцы...

Что такое Нью-Йорк? Город-символ, абстрактный как идея и конкретный как тротуар, насильно врывающийся в жизнь калейдоскопом событий и визгом сирен за окном, и в то же время отчужденный и нереальный.

У каждого человека, независимо от того, был он в Нью-Йорке или нет, есть свой Нью-Йорк. Это уголок надежды и неуверенности: а смогу ли? Это чувство всесия открытости дорог и отчаянья от их обилия; это неизбежность перемен и нахождения самого себя в осколках прошлого.

Память – единственное, чем мы владеем безраздельно. Я живу, пока я помню. Я жива, пока меня помнят другие. Так ли уж важна при этом перемена мест? Нью-Йорк – огромный приют, ковчег, вобравший в себя мир; зеркало, отражающее по-своему каждого прибывшего. Любящий – для любящих, алчный – для алчных, юный – для юных, старый – для пожилых.

Принято считать, что многие эмигранты теряют свое лицо, приехав в этот город. Теряют лицо те, кто им, по сути, никогда и не обладал. Нью-Йорк жесток, как правда, и жить в нем просто, если живешь по древнему иудейскому принципу: если что-то не так, то вина в этом моя и никого больше.

Нью-Йорк – это, прежде всего, встреча с самим собой. Я – это и есть моя память – сумма всех запомненных мною мгновений. Нью-Йорк – это Россия, детство, царяпины на коленях и печеная на углях картошка, это подсказки на уроках и тайные стихи, это все то, без чего меня сегодняшней не было бы; это встреча с собственным прошлым, без которой невозможно состояться в будущем.

Прелюдия № 20 до минор • Чудное мгновенье

Современная культура в своей сущности – это культура стриптиза. Срывание одежд в погоне за голой правдой. Во всеобщий стриптиз попадает кинематограф, пресса, литература, музыка, человеческие отношения, сама жизнь. Это напоминает танец смерти на полотнах средневековых художников. В поисках души срываются одежды, кожа, добираясь до костей, и вот уже несет мертвечиной, и в лабораториях морга расщепляются кости, – а души все не видно. И не найти ее, ибо ищут не там, и правда может существовать лишь до ее определения в словах. Слова – это уже стриптиз их значения. Чудо наготы может быть видно лишь воображению и сквозь оболочку, ибо нагота заключена в самой оболочке и без одежд не было бы и наготы.

Стриптиз в погоне за голой правдой – явление массовое и коммерческое. Голая правда швыряется в массы, голодные и прожорливые; падкие до крови репортеры обсасывают косточки, но толпу прокормить невозможно – она ненасытна. Хлеба и зрелищ! – стриптиз приносит и то, и другое – ибо конечная цель, это даже не страсть к срыванию одежд, но полученные за это деньги.

Любой фильм по сюжету какого-либо литературного произведения обречен на умерщвление этого произведения. В фильме неминуемо происходит упрощение сюжета, пропускаются детали, а именно в них и заключается суть. Правда не в том, что высказано, а в том, что недосказано. Слово – точка на бесконечном белом листе. Мы замечаем точку, а не белое пространство вокруг нее, хотя оно и составляет большую часть всей картины. Смысл же полностью может раскрыться лишь в окружающем эту точку пространстве. Человеку свойственна варварская близорукость.

...Я сижу в очередном аэропорту, на этот раз в Денвере, ожидая все время откладывающийся рейс на Нью-Йорк. Со мной рюкзак с рукописями – рукописи не сдаю в багаж – тяжелый, как груз обязанностей. Я слоняюсь с этим неподъемным рюкзаком по аэропорту в поисках места, где можно было бы разложить партитуру и работать над моей новой симфонией «Реквием Тысячелетию».* Единственным свободным местом оказался столик в Макдоналдсе. Мне это даже показалось символичным, что «Реквием Тысячелетию» будет закончен в Макдоналдсе, ставшем эмблемой заштампованности современного бытия.

В эпоху массовой информации настоящими правителями являются Кока-Кола, Дисней и Макдоналдс. На улицах любой страны – от Европы до Южной Америки, независимо от правительства, от уровня жизни, от времени года – Кока-Кола и Дисней будут следить за вами всепроникающими лозунгами и плакатами реклам со стен небоскребов, с ближайшего дерева, с воздушного шара, с борта корабля – от них не скрыться, ибо паутина кича не знает границ и рано или поздно вы угодите в силки.

Я раскладываю ноты на столике и рассматриваю сидящую за столом напротив семью: двое глазастых детей – маленькая девочка и мальчик чуть постарше, молодые родители и старик, очевидно дедушка детей. Отец играет с набитым горохом игрушечным котенком девочки. Девочка следит, открыв рот, за движениями отца, а мать, воспользовавшись этим, засовывает ей в

рот ложку с детской смесью. Девочка машинально глотает, размазывая остатки смеси по лицу. По приемнику звучит песня шестидесятых годов о любви. Мать вытирает лицо девочки. Мальчик, расковыряв в кровь царапину на коленке, начинает плакать. Отец наклоняется и целует ему коленку, чтобы зажила. Старик улыбается.

И в этот момент всё окружающее сливается перед моими глазами в единое переживание неповторимости этого мгновения. Ощущение жизни, самой жизни, переполняет меня, как тогда, первого сентября, когда по лицу моему текли слезы, и я их не вытирала, рука моя была в руке няни, и слезы эти были запретным узнаванием нити жизни и мелодии утрат. И в самый неподходящий момент, ожидая самолет, под звуки банальной песни из радиоприемника в Макдоналдсе, краем глаза ухватив момент из жизни незнакомых мне людей, это чувство узнавания снова обожгло меня.

Сила высокого искусства заключается в узнавании собственного отражения в зеркале стихотворной строки или музыкальной фразы. Но как же тогда понять, когда не высокое искусство, но самая заурядная картина: размазанная по лицу ребенка каша, поцелуй отца, банальная музыка из радиоприемника – способны вызвать то же чувство сопричастности и почти физического ощущения хода жизни (пряжа жизненной нити – вот еще один виток) – и изумление от совершенства этой нити? Быть может, банальность – это и есть вывернутая наизнанку тайна; тайна, ставшая общедоступной; голая правда, с которой сорвали одежду и заштамповали многомиллионным тиражом?

Любой идее свойственно в момент «облачения в реальность» превращаться в свою собственную противоположность. Поэтому революции всех времен во имя самых возвышенных идеалов обречены на поражение и на измену этим же идеалам. Но и в самом банальном клише таится отпечаток первоначальной тайны – оттого и может оно нас так затрагивать.

Для поэта, написать в наше время: «Я люблю Вас» почти невозможно, как невозможно разрешить доминанту в тонику в современной академической музыке. То есть возможно-то возможно, но ох как сложно из-за простоты и из-за того, что эта «формула» превратилась в клише. И чувство стыда не дает написать: «Я люблю Вас», как могли себе позволить наши предки. У них сочетание этих слов не было отягчено виной и не являлось потому клише, а если и являлось, то они его не боялись, ибо не боялись самих себя.

В мире, лишенном массовой информации, вероятнее заразиться чумой, чем подхватить болезнь кича, и пошлость является роскошью, а не каждодневной реальностью, преследующей тебя с плакатов, домов, бортов кораблей, воздушных шаров и деревьев.

Прелюдия № 21 си-бемоль мажор • Усатый кич

К. М., пожелавшая приобщить «сильных мира сего» (то есть по ее разумению – политических деятелей) к моей музыке; вернее, желая из самых лучших побуждений приобщить меня и мою музыку к сильным мира сего по принципу не «искусство спасет мир», а «мир спасет искусство», сводит все к социальной пользе. Право же, от искусства без социального лозунга у нее может сделаться (упаси Боже!) несварение желудка. Пытаясь объяснить ей роль искусства, я чувствую себя предателем самое себя, ибо попытка объяснить что-либо – жалкое зрелище, а уж попытка переубедить – и подавно. В дискуссии проигрывают все участники, любая победа в споре – это прежде всего поражение. Объяснить смысл музыки и литературы невозможно, так как высокое искусство – это единственная свободная от кича территория. Именно поэтому артисты, писатели и поэты первыми подвергаются гонениям при любом диктаторском режиме.

Кич – сильнейший механизм управления массами. Он неоспорим, вездесущ и всегда имеет романтическую сентименталь-

ность, как свою основу. Недаром диктаторы всех времен запечатлевали себя с ребенком на руках, чаще всего с маленькой девочкой с большим бантом. Маленькая девочка символизировала детскую хрупкость и незащищенность; великий вождь, держащий ее на руках – идеал оплота, защиты и веры. Умиление перед детьми – сильнейший эмоциональный рычаг общенародной любви. Неважно, что судьбы этих детей и их родителей, как правило, исчезали в кровавом тумане лабораторий смерти; важен имидж, плакат: улыбающийся усатый (почему большинство диктаторов XX века были усатыми?) Отец Народов с хрупким незащищенным ребенком на руках – залог надежности и защиты будущего страны. И слеза умиления – все мы сентиментальны. Как мартовский снег.

Прелюдия № 22 соль минор • Дом души

Романтическая песня 60-х годов закончилась, сменившись симфонией Моцарта. Музыка... Музыка нельзя потрогать, понюхать, увидеть, невозможно по-настоящему проанализировать. Ах, эти теоретики могут лишь работать в морге, препарировав трупы, но музыка – живая музыка – живет вне анализа и слов. Лишь человек, знающий и глубоко убежденный, что его дар – Божий дар – способен на становление в искусстве и полноценное развитие своих способностей.

Моцарт и Бетховен, объединенные обманчивой схожестью стиля, заклеянного «классическим», – существа полностью противоположные.

Моцарт – это воплощенная в оболочку нот легкость.

Бетховен – это воплощенная в ноты сила притяжения.

Моцарт – воздух. Бетховен – огонь.

Моцарт – совершенства «чистейший образец», наслаждение небесного дара.

Бетховен – это несовершенство, введенное в культ и основанное на воле и стремлении к совершенству. Мы любим Бетховена именно за его несовершенство, за его пот и кровь, за его неминуемое поражение, за его всепобеждающую волю.

...Дом души – мир беспредельности, без времени, без конца и начала – это мир всеобъемленности. Душа входит в человеческий зародыш – рождается ребенок. Когда ребенок «узнает» язык слов (а дети именно узнают, а не учат), с каждым словом рождается определенное ограничение. Слово – мерило бесконечности, точка на окружности. Дети ощущают эту бесконечность и требуется, как минимум, пять-шесть лет для души «адаптироваться», чтобы тело (a limited mortal body) могло функционировать в мире предметов – конечных точек на бесконечной сфере.

Именно поэтому музыка – самое таинственное искусство. Звуки не имеют смысловых ограничений слов. Ноты лишь способны обозначить пространство, придать форму расстоянию между нот, – и именно это пространство между – и создает ткань музыкального произведения. Нить жизни – всегда тайна. Законы сотворения – едины для музыкальной фразы и для Вселенной. Истину нельзя назвать, можно лишь ограничить пространство вокруг нее. Так в иудаизме нельзя произносить имя Бога, чтобы не огласить (не предать) Его Тайну.

Прелюдия № 23 фа мажор • Прекрасного разрозненные части

Самолет на подходе к Нью-Йорку трясётся, как в лихорадке, под крыльями видна вода и кажется, что мы так и приземлимся в воду. Я закрываю глаза.

...Мне тринадцать лет. У высокой угловой стены дома мы играем в «козла», перепрыгивая через мяч, отскакивающий от стены. «Мы» – это сёстры Женя и Юлия и мальчики Сережа и Стасик – мои дворовые сверстники. Нагнувшись за укатившим-

ся мячом, я поднимаю голову и вдруг вижу их со стороны, но не своими глазами, а неким отдаленным зрением, словно из другой перспективы. И в этот момент я вдруг осознаю, как изменились мои друзья за последний год. Где прежние дети, с которыми я играла в «казаки-разбойники» и в «классики»? Кто эти подростки, когда свершилась метаморфоза, неужели это происходит и со мной?

Я вижу, как еще через год-два наши пути совершенно разойдутся, и мы не только никогда больше не встретимся, но и забудем друг друга. Я фокусирую зрение и мысленно запоминаю их памятью сердца детьми, какими они были всего год назад: забияка Женя в мальчишеских шортах с кудрявыми непослушными волосами, Юля – тоненькая, тихая и высокая, с мечтательными глазами, столь непохожая на сестру; Сережа – маленький, чернявый, с быстрыми движениями и темными глазами; и Стасик-актер, фантазер и заводила, обладающий неумной энергией, которая много позже приведет его за решетку.

И я знаю, что, несмотря на все метаморфозы, эти дети навсегда останутся детьми, и я сквозь любую оболочку увижу в них их детские лица.

– Лера, ты что? – кричит Сережа.

Я выпрямляюсь и кидаю ему мяч.

– Ничего, все в порядке! – я улыбаюсь в ответ.

...В последний момент из-под колес выбежала асфальтовая полоса, и самолет с одышкой приземлился в Нью-Йоркском аэропорту Ла-Гардия. Толстяк, сидевший рядом со мной, вздохнул с облегчением и вытер платком пот со лба. В каждом из бесчисленных перелетов нет-нет да мелькнет мысль – а что, если это последний?

Я покорно выхожу за толпой, таща на себе рюкзак с партитурами и стихами. Встречает ли меня кто-нибудь? Чувство самого пронзительного одиночества у странствующего музыканта возникает, когда приходится ужинать одному после

концерта, и когда тебя никто не встречает в аэропорту родного города. Никого не видно. Иду в багажное отделение.

В багажном отделении на включенном экране телевизора одна фирма объясняет, почему именно ее таблетки помогают от простуды лучше, чем таблетки других фирм. *Не суди – да не судим будешь.** Наши несчастья – из-за наших понятий «лучше» и «хуже»; ложных понятий, навязанных нам бесконечными рекламами, пробуждающими ложные желания.

Животные и младенцы – блаженные мира сего. Им не дано познать сравнения. Они желают лишь то, в чем действительно нуждаются, в то время как люди, как правило, желают именно то, что позже приводит их к гибели. Из-за этого взрослые столь часто несчастны. Животные и дети не сравнивают, ибо воспринимают все происходящее, как данность, и это доверие к окружающему миру является для них неотъемлемым воздухом существования. Опыт взрослого человека покушается прежде всего на это доверие. Целостный мир раскалывается на мелкие куски, и человек становится осколком в разрозненном хаосе, несчастным и одиноким.

Я подхватываю с бегущей дорожки чемодан и иду к раскрытым дверям. За ними стоит солнце.

– Здравствуй, Нью-Йорк.

На выходе из аэропорта – реклама новой компьютерной программы и очередной кредит-карты. Что такое кич? Предельное упрощение, сведение смысла – до лозунга, картины – до плаката. Любая реклама – это прежде всего кич – еще одна голая правда, брошенная голодной толпе. «Брюки фирмы Ли – самые сексуальные в мире». «Новой модели Джипа не страшны ни горы, ни ураган. Джип пройдет сквозь все!»

Утверждение правды, не знающей сомнений – апофеоз кича, веющий смертным холодком стриптиза. Поэтому столь опасна политика. Политические игры выигрывает тот, чей лозунг (формула кича) наиболее точен (наиболее «смертелен»). Политики

– люди, дышащие пустотой. Сила их обманчива, их слава – миф, ими же придуманный, за которым следует забвение.

При встрече Иосиф Бродский сказал мне: «Пожалуйста, не воспринимай меня слишком серьезно. Это большая ошибка, которую совершают даже самые близкие друзья».

Смысл – вовсе не в том, что мы говорим или пишем, не в словах. Смысл – между слов. Часто полностью противоположные высказывания имеют единый смысл. За одним сказанным словом толпится тысяча недосказанных, и суть заключена именно в них.

Прелюдия № 24 ре минор • Бах с барабанами

Черный Нью-Йоркский таксист добродушно улыбнулся:

– Ну, куда везти, мисс?

– Манхэттен. 66-я улица.

К Нью-Йорку я всегда привыкаю заново, – вечно он строится, перестраивается, видоизменяется – город постоянных метаморфоз.

– В гости?

– Да нет, домой, – Отвечаю нехотя, по Нью-Йоркской привычке осторожно относиться к незнакомым.

– А вообще откуда?

Боже ты мой, настанет ли когда-нибудь время, когда меня не будут спрашивать, откуда я родом?

– Из России.

– А я из Африки. На каникулы ездила отдохнуть?

– Да нет, по делам...

– А чем ты занимаешься?

Вот уж любопытный таксист попался!

– Я музыкант.

– Да ну? А на чем ты играешь?

– На рояле.

– С гастролей, значит?

– Да.

– Здорово. А я ведь тоже музыкант. На барабанах. Африканских. Здесь такого искусства нет, мало кто поймет, вот я и вожу такси.

Какое-то время ехали молча.

– Закрой-ка здесь окно.

Я закрыла окно и проверила защелку на двери. Проезжали Гарлем. Гарлем, одно из тысячных лиц Нью-Йорка.

– Ты Ницше читала? – спросил неожиданно таксист. Боже мой, только в Нью-Йорке африканский барабанщик, ведя такси, может такое спросить. А может он чокнутый? Тут много таких – на вид нормальные, а на самом деле крэйзи, сумасшедшие то есть. С ними нужно быть ужасно тактичными. А бывает наоборот – совершенно нормальный, а если посмотреть со стороны – то ведет себя, как самый настоящий сумасшедший.

– Читала.

– Ну и как, понравилось?

– Смотря что, – осторожно ответила я.

– Я раньше читал, мне тоже вроде понравилось, а сейчас думаю – глупости все это.

– Что именно глупости? – разговор с таксистом начинал занимать меня.

– Ну как его... Ну... Сверхчеловек и все такое...

– Почему?

– Человек может быть сверхчеловеком, только когда он одинок и когда в нем нет любви. А лишь в любви открывается наше настоящее лицо. Пока ты один, ты можешь быть кем угодно, хоть сверхчеловеком, но, когда ты любишь, ты можешь быть лишь самим собой.

– А давно вы философией увлекаетесь?

– Давно, только бросил я все это. Страшно стало. Чем больше знаешь, тем страшнее и труднее жить.

– Чем больше знаешь, тем больше ответственность.

– Вот-вот... А какую музыку ты играешь? – сменил он тему.

- Классическую.
- А джаз любишь?
- Люблю, но не играю.
- Я тоже люблю джаз.

За окном замелькали улочки Верхнего Города. Серенький робкий дождик ткнулся в окно, как беспризорный щенок.

– В дождь путешествовать – хорошая примета, – африканец посмотрел, сощурившись, на заплаканное окно. – Это ничего, что я так много говорю?

- Наоборот, у вас интересные взгляды на жизнь.
- Взгляды-то, может, и интересные, да хорошего от них

мало.

– Почему?

Таксист замаялся.

- От меня ушла подружка. Банально, не правда ли?
- Сожалею...
- Да чего уж там. Так лучше, наверное, и для нее, и для меня.
- А вы музыку Баха знаете?
- Не очень.
- Послушайте, я всегда ее слушаю, когда мне плохо.
- Хорошо, спасибо за совет, – африканец улыбнулся. – Музыкант – сложная профессия. Это как... сквозь время... оставить в Вечности свои черты... Ну вот ты и дома.

Такси остановилось.

- Как вас зовут? – спросила я.
- Амэн.
- Удачи вам, Амэн.

Трио Ор. 4

И. Как стать человеком?

II. Копилка для слёз

III. Приют Разлуки

И. Как стать человеком?

По кочкам, по кочкам, в яму – бух!

Маугли: – Странник-скиталец, возьми меня с собой! Ты бродишь по свету в поисках счастья, я же хочу узнать про любовь. Ты – стар, я – молод, нам по пути.

Скиталец: – Кто ты?

Маугли: – Дикарь Маугли, сын волчицы, брат Ромула и Рема.

Скиталец: – Что хочешь ты?

Маугли: – Стать человеком. Для этого я должен узнать любовь.

Скиталец: – Кто сказал тебе это?

Маугли: – Отшельник-мудрец. Я расскажу тебе про счастье, ты мне про любовь.

Скиталец: – Ты счастлив, сын мой?

Маугли: – Нет, но я счастливым был.

Скиталец: – Откуда ты знаешь, что был счастлив?

Маугли: – Знаешь лишь то, что теряешь. Возьмешь меня в попутчики?

Скиталец: – До поры, до времени.

Маугли: – До времени, до поры нам по дороге.

Скиталец: – Так когда же ты был счастлив?

Маугли: – Когда я был волком. Я жил, не спрашивая: хотел спать – ложился, если на меня нападали – защищался, если был

голоден – добывал пищу. Счастье сделало меня волком, несчастье – человеком.

Скиталец: – Что же, по-твоему, счастье, сын мой?

Маугли: – Счастье – в незнании, в не-задавании вопросов. В сердце – мы все уже знаем, рассудок вводит нас в заблуждение.

Скиталец: – Что же с тобой случилось, волчонок?

Маугли: – Я стал задавать вопросы и искать на них ответы. Смута началась в стае, и я был изгнан волками. Я хотел узнать, кто я – и пошел к людям, они были похожи на меня. Но людям я был чужд, ибо был вскормлен молоком волчицы, а не женщины, и на вопрос, «кто ты?» – отвечал: «я волк». Люди смеялись надо мной, звери ощеряли клыки – я стал отверженным. В поисках самого себя я зашел на Край Света к Мудрому Отшельнику. Мудрец сказал, что лишь познав, что такое любовь, сумею я полностью стать человеком. Помоги же мне, Скиталец, ты видел многое, научи меня, расскажи мне про любовь!

Скиталец: – Что ж, иди со мной, и ты увидишь любовь во всех ее проявлениях, и те, кто думают, что знают о любви, сами расскажут тебе о ней.

II. Копилка для слёз

Я просыпаюсь и, не успев полностью стряхнуть сон, вспоминаю, что меня сейчас – о ужас! – поведут в детский сад. Трогаю лоб рукой, надеясь оказаться смертельно больной, но лоб мой вовсе не горяч, нос не заложен, и горло не болит – пути к отступлению нет. Я набираю в легкие воздух и реву из-за всех сил. На мой плач к детской кровати подходит папа.

– Не хочу, не хочу, в садик не хочу! – реву, размазывая отчаянные слезы по щекам. – Не надо, папочка, не надо садик!

Детсад был для меня пыткой. Несмотря на все мои протесты (о, я предвидела этот ужас!) родители зачислили меня в младшую группу. Делалось это, очевидно, чтобы, во-первых, быть «как все», а во-вторых, для здоровья – игры на свежем воз-

духе, дневной сон, регулярное питание и общение с другими детьми должны были меня укрепить и придать хоть какой-то образ нормального режима дня в нашей беспокойной семье. В-третьих, – будучи дома я всячески докучала моему брату, старшекласснику, человеку вполне серьезному, и маме, которая занималась с учениками на нашем стареньком пианино «Рёниш». Да и няня моя, Марианна, была не прочь провести день в относительном спокойствии и вязать коврики из старых, нарезанных в большие цветные клубки, тряпок. Спокойствие это оказывалось недолгим, так как из-за моих постоянных болезней большую часть времени я проводила дома, и в конце концов меня мама вообще забрала из младшей группы, как существо «профнепригодное».

Теперь, думая об этом, я не знаю, были ли мои ранние бесконечные болезни результатом желания заболеть, чтобы можно было не ходить в садик, или были они сами по себе, но одно я знаю точно – несколько недель пребывания в детском саду растянулись для меня долгим детским кошмаром, опоясанным бредом, горчичниками, прогулками по кладбищу и корявыми гаммами маминых учеников.

– Ну слушай, если уж плачешь, так не плачь понапрасну: слезы – товар дорогой, их беречь нужно. Где слезная копилка? – спрашивает папа.

Слезная копилка – это маленькая пустая баночка из-под валерьянки, куда я, по распоряжению папы, должна собирать свои слезы, когда плачу.

– А, ну вот она, – папа достает с зеркального ящика баночку. – Держи свою копилку.

Я покорно плачу в баночку. Папа удовлетворен.

– А у меня для тебя есть сюрприз, – таинственно говорит папа.

– Какой сюрприз? – я забываю плакать.

– Ты плачь, плачь, не отвлекайся.

– А какой сюрприз?

– А вот какой, – папа наклоняется и выпрямляется с котенком на руках.

– Кто это? – спрашиваю я в изумлении.

– Это Кось, – папа протягивает мне котенка сквозь прутья моей кровати. – Он сиамский котенок. Редкий.

– Кось, – повторяю я, глядя котенка.

Котенок, оцарапав мне руку, вырывается и убегает.

– Он меня не любит?

– Да нет. Он просто котенок.

Я вспоминаю про детский сад и начинаю хныкать:

– Не хочу в садик...

Папа поднимает меня на руки:

– А ты потерпи. Тебя мамочка скоро заберет оттуда.

– Насовсем?

– Насовсем.

– Понарошку или на самом деле?

– На самом деле.

– А когда?

– Если удастся – сегодня.

– Сегодня мой последний день в садике?

– Если будешь хорошей девочкой – да.

Садик. Знакомые деревянные ступени. Тоска – еще целый, целый день ждать свободы. Я выбираю себе игрушечного красного коня-качалку и сажусь на него. Так я просижу до самого «мертвого часа» – обязательного дневного сна. Я не скажу ни слова.

Сидя на коне, я буду терпеливо ждать, когда начнется «это». «Это» я узнаю по тому, как сплющивается пространство вокруг, как растекаются, словно в кривом зеркале, фигурки воспитательницы и детей, как все голоса сливаются в единый монотонный гул одного гигантского существа. В этом гуле слова бессмысленны и слиты в единый многоголосный аккорд: «о... у... о...»

Гул этот разрастается и поднимается все выше, переходя в визг и вдруг на самой высокой ноте обрывается. В этот момент

все пространство становится вертикальным, и я физически чувствую, как замедляется и останавливается Время. Я смотрю на себя со стороны, откуда-то сбоку и сверху, откуда я вижу всю комнату, фигурки играющих детей и себя на красной лошадке.

Этот взгляд извне и как бы вне меня – взгляд взрослого человека из какой-то другой жизни; взгляд, лишенный оценки или эмоциональной окраски. Просто – взгляд извне. Замедленные движения воспитательницы, говорящей по телефону, замедленные движения детей, как в вязком вареве – игра чудовищ, где каждое движение (подъем головы, полет мяча, растягивание губ в улыбку) занимает вечность, и все это в тишине как в гигантском аквариуме остановившегося Времени. Тишина эта начинает звенеть, трястись мелкой дрожью и лопаться; я ее уже не вмещаю и кричу, кричу отчаянно, и прихожу в себя на полу возле лошади. Дети вокруг смеются, показывая на меня пальцами.

– Что, Лера, опять заснула на лошади? – воспитательница смеется тоже.

Я на миг представляю себе, как страшно выглядели бы их, оскаленные в смехе лица, в аквариуме замедленного Времени и встряхиваю головой.

– Ты в порядке?

Я киваю и забираюсь обратно на лошадку.

– Ну, ребята, обед – и мертвый час.

Мертвый час – единственное Время в детсаду, когда я знаю, что меня оставят в покое. Я лежу и думаю об убийстве Времени.

– Ты убиваешь Время, – сказала как-то мама брату, читающему очередную рассказ из жизни Шерлока Холмса.

«Убиваешь Время» – странное сочетание слов.

– Как это – убивать Время? – спросила я няню.

– Это когда ты ничего не делаешь. Каждому из нас отмерено Время. Когда ты ничего не делаешь, оно умирает, – объяснила няня.

– И ему больно? – спросила я.

– Кому? Времени?

– Ну да, больно умирать?
– Ну, наверное, – неуверенно ответила Марианна.
– А у него есть могила?
– У каждого есть могила, – уверила меня няня, которая собственноручно ухаживала за собственной могилой.

– А где его могила?

– Кого?

– Ну, убитого Времени?

Марианна задумалась, – Не знаю, наверное, в пространстве. Да ты не переживай, все мы убиваем Время по-своему.

– И я тоже?

– И ты тоже. Когда ленишься.

Я представляю себе раненое, умирающее Время, истекающее секундами и минутами, потерянными мной.

– Я больше не буду лениться.

– Ну и умница.

И вот – мертвый час. Час убитого Времени. Воспитательница выходит, и дети начинают кричать – кто во что горазд, и, вдруг, я ловлю себя на том же – я тоже кричу, причем кричу дикую чушь:

– Одна форточка зелёная, другая раскрытая! Одна форточка зелёная, другая раскрытая! – продолжаю слышать свой голос в общем крике. – Одна форточка зелёная другая раскрытая!

Голос воспитательницы:

– Тихо! Ну-ка тихо! Кому говорю?!

– Одна форточка...

– Лера, и ты тоже?!

Мое сердце обрывается и падает в кровать.

– Изверги, а не дети! Выйти из комнаты на пять минут нельзя – вон что творят!

Гробовое молчание. Изверги. Убийцы. Убийцы.

Мое сердце растекается лужей под одеялом.

...Дворик детского сада, огражденный забором. Я стою, прислонившись лбом к решетке и жду, надеясь, что – может

быть – мои молитвы будут услышаны, и Марианна заберет меня на волю раньше назначенного часа. Ведь это уже случилось. Господи, повтори чудо! Но чудо не свершается. Дети послушным стадом возвращаются в здание.

Сейчас начнется самое ужасное – коллективные игры. Дети встают в круг и бросают мяч друг другу – кто ловит мяч, должен сказать следующую букву алфавита.

– Только не мне, только не мне, – шепчу я.

Мяч летит на меня, я стою, как столб, лишь отворачиваю голову, чтобы не попал в лицо. Мяч ударяется и отскакивает от меня. Дети смеются и кричат:

– Выйди вон! Выйди вон! Выйди вон!

Я выхожу из круга, мои щеки горят, я иду к своей лошадке. Все, худшее позади, теперь ждать не долго – меня няня скоро заберет домой. Становится легче дышать.

– Девочка, девочка, как тебя зовут?

Я оборачиваюсь на тоненький голос. Передо мной светловолосая девочка в фартучке с вышитым утенком.

– Лера, а тебя?

– Меня Тина. А почему ты ни с кем не играешь?

– У меня нет друзей.

– Это грустно. Хочешь дружить со мной?

– Хочу.

– Давай вместе играть.

Безнадежная детская тоска моя исчезает, и мне становится весело – у меня впервые появился здесь друг.

– Ты умеешь кататься на доске?

Я отрицательно качаю головой.

– Это просто – смотри, ты садишься на этот конец, я на тот, и мы качаемся.

Предвечернее солнце ласково облизывает комнату и падает Тине на лицо. Тина улыбается и прикрывает рукой, с повернутой наружу ладонью, глаза. И я снова вижу нас со стороны, зрением вне себя и вдруг понимаю, что это счастливое солнечное

мгновение совершенно и неповторимо. Я фиксирую внутреннее зрение, чтобы запомнить и сохранить это мгновение навсегда.

– Лера, пора домой, – голос няни.

– До завтра, – улыбается мне Тина.

– До завтра, – отвечаю ей. И, уже выйдя из садика, вдруг вспоминаю, что завтра не будет, что мне папа утром обещал, что это мой последний день в садике.

– Мама выхлопотала тебе освобождение от детсада и забрала документы, – как бы в ответ на мои мысли говорит мне Марианна. – Ну, рада?

Я молча киваю. Мне больше ничего не остается. И это свершение моего желания обрести свободу вдруг обжигает меня своей несправедливостью – почему оно свершилось именно тогда, когда я подружилась с Тиной?

– Вот видишь, ты всегда добиваешься своего.

– Угу.

Няня крепче зажимает мою руку в своей морщинистой руке. Предвечернее солнце пляшет у меня в глазах черными пятнами и растворяется на металлических цифрах «55» на двери квартиры, – я дома.

III. Приют Разлуки

Комната Разлуки на Реке Утрат. Полумрак. Разлука сидит за широким бревенчатым столом и смотрит на светящийся голубой шар в хрустальной сфере, лежащий на столе. В дверь стучат. Входят Скиталец и Маугли.

Скиталец: – Сними шапку, сын мой. Здесь приют Разлуки.

Маугли снимает воображаемую шапку и отвешивает поклон.

Маугли: – Здравствуйте, госпожа Разлука.

Разлука: – Здравствуйте, милые. Скиталец, будь добр, оставь Скептика своего снаружи, чтобы он мне на нервы не действовал.

Скиталец: – Я его скинул с Края Света.

Разлука: – Скинуть-то скинул, да от себя не сбежишь. Ты его в реку, он к тебе в дом; ты его в огонь, он к тебе в сердце; скинешь его с Края Света, а он к тебе в душу.

Скиталец (смотрясь в старинное зеркало на стене): – Скептик, ты здесь?

Скептик вылезает из Скитальца.

Скептик в Скитальце: – Ну здесь, здесь, а где мне еще быть-то?

Скиталец: – Подожди снаружи, голубчик.

Скиталец начинает тянуть из себя шею Скептика, но шея у Скептика оказывается очень длинной, и, как змея, обвивается вокруг Скитальца.

Скиталец (к Маугли): – Помоги мне, дружок. Устал я что-то, тяжел Скептик этот.

Маугли вытаскивает остатки шеи из Скитальца и выталкивает Скептика из комнаты. Шея Скептика при этом извивается, как щупальца осьминога.

Разлука: – Так совсем без внутренностей остаться можно. Стареешь ты, Скиталец.

Скиталец: – Да и ты не молодеешь, Разлука.

Разлука: – Кто этот мальчик?

Скиталец: – Волчонок, ищущий разгадку любви.

Разлука: – Разгадку любви найдет лишь любящий.

Маугли: – Чтобы найти, нужно знать, что ты ищешь. Нельзя искать вслепую.

Разлука: – Мальчик мой, в жизни, к сожалению, больше событий, чем времени на их осмысление. Осмысление приходит позже – люди, как раки, по жизни пятятся вперед, – ноги их повернуты к будущему, а головы – к прошлому.

Маугли: – Так где же настоящее?

Разлука: – А вот и получается при таком раскладе, что и нет его. Человек либо слишком стар, либо слишком молод; Время – странная штука, играет с людьми в страшные жмурки. Проснешься ты в один день и увидишь, что стар и немощен. «Это не

я!» – прокричишь ты своему отражению. Но зеркалу все равно: ты это или не ты. Оно просто отражает игру Времени.

Маугли: – Грустно это все как-то.

Скиталец: – Я-то своего Скептика выставил, а ты своего, кума, оставила.

Разлука: – Да не скептик это у меня, мой милый, а жизненный опыт.

Скиталец: – Все едино.

Разлука: – А вот и не едино. В моем жизненном опыте тысяча твоих скептиков поместятся.

Скиталец: – Чем же тебе мой не угодил?

Разлука: – А тем и не угодил, что мне он себя напоминает. Смотрю на него – а вижу себя. Вот и раздражает.

Маугли: – Как зеркало.

Разлука: – Ну да – как зеркало. Каждый человек – зеркало. Если нам что-то в нем не нравится – так это именно та черта, которая нам не нравится в нас самих. Отсюда и неприязнь.

Маугли: – А если нравится человек?

Разлука: – Значит нравится нам собственное отражение в его глазах. Вот, держи.

Разлука снимает со стены и протягивает Маугли большое старинное зеркало.

Разлука: – Держи крепко. И смотри мне в глаза.

Разлука становится перед зеркалом и, смотря на Маугли, вдруг преобразается в молодую нагую прекрасную женщину с рыжими густыми волосами и пушистыми ресницами. В волосах у нее алый цветок, в руке – алое животворное яблоко. Маугли, впервые увидевший женщину, нагую женщину, замирает с широко раскрытыми глазами. У него течет слюна. В отдалении звучит голос флейты. Женщина надкусывает яблоко. Маугли роняет зеркало. Зеркало разбивается. Сгорбленная морщинистая Разлука стоит посреди полутемной комнаты и осуждающе качает головой.

Разлука: – А зеркало ты зря разбил, мальчик. Нехорошая примета это. К смерти, говорят.

Маугли вспыхивает, бросается собирать осколки и ранит в кровь палец.

Разлука: – Ну-ну, осторожней. Во дворе лопух растет, приложи его к пальцу, кровь остановится.

Маугли тайком прячет в карман осколок зеркала, высыпает остальные осколки в каменную урну около стола и выходит во двор.

Скиталец (с укоризной): – Ты бы поосторожней с мальчиком. Не играй с ним. Он чист и юн.

Разлука: – Не учи ученую. Сама вижу.

Маугли прижимает к пальцу лопух и вынимает заветный осколок. На дворе темно, лишь около калитки светит фонарь. Маугли подносит осколок зеркала к фонарю и вздрагивает. Из осколка на него смотрит Ева. Яблочный сок течет у нее по губам, капает на траву.

Маугли прячет осколок и заходит обратно в комнату Разлуки. Во дворе тихо и темно. Лишь высоко, где-то в области Луны, одиноко маячит на длинной шее голова Скептика, ожидающего Скитальца, чуть покачиваясь из стороны в сторону, то ли в знак осуждения, то ли просто от вечернего ветра.

ЧАСТЬ V • АРИАДНЫ НИТЬ
(зеркальный ракоход)

Трио Ор. 4а

III. Что такое любовь?

II. Взаимоотношения звуков

I. В темпе вальса

III. Что такое любовь?

Разлука: – Ну, мой мальчик, а ты уверен, что хочешь узнать, что такое любовь?

Маугли: – Да, иначе мне не стать человеком.

Разлука: – Любовь найдет лишь любящий.

Маугли: – Чтобы найти, нужно знать, что ищешь.

Разлука: – Я покажу тебе тех, кто думают, что знают, что такое любовь. Смотри сюда, мальчик.

Голубой шар на столе начинает темнеть, узоры на нем превращаются в ленты рек, зеленые пятна – в леса, вот уже видны дома, замки, овцы, люди. Маугли наклоняется ближе к шару. Ему видна богато обставленная комната. Посреди нее темнокожий человек в белой тоге стоит, рыдая, закрыв лицо рукавом. На кровати лежит женщина. Она мертва.

Разлука: – Это Отелло. Он только что задушил свою жену.

Маугли (в ужасе отшатывается): – Зачем? Как он мог?

Скиталец: – Из-за любви. Он так сильно любил свою жену, что, когда клеветники уверили его в ее неверности, он этого не смог перенести и убил ее.

Маугли: – Если бы он действительно любил свою жену, он бы ее простил.

Скиталец: – Не исключено, что любил он вовсе не свою жену, а самого себя.

Разлука: – Даже не самого себя, а свою гордость. Вот как Скиталец таскается со своим Скептиком, пока тот его не пере-

растет и не задушит, так Отелло был влюблен в собственную гордость. Весть о том, что Дездемона ему (ЕМУ!) изменила, была прежде всего ударом по его самолюбию. За его опозоренную честь Дездемона должна поплатиться жизнью.

Маугли: – Так причем же здесь любовь? Это скорее какая-то анти-любовь.

Разлука: – А ты, птенчик мой, может быть и прав, да с выводами не торопись. Люди веками считали Отелло эталоном любви и вообще удивительно, как, после таких примеров страсти, кто-то умудряется уцелеть. А вот еще один ревнивец. Посмотри-ка на вот этого господина.

В голубом шаре виден восточный дворец. Обнаженная женщина, сидя на кровати, рассказывает что-то бородатому мужчине в разукрашенной драгоценностями чалме.

Разлука: – К вашему вниманию, господа. Это всем известный маньяк-убийца Царь Шахрияр. Он так любил свою жену, что, уличив ее в измене, не только разрубил ее тело на мелкие части, но издал закон, по которому каждую ночь к нему в спальню приводили девственницу, которую казнили на заре. Если бы не Шахерезада, в стране не осталось бы девушек. Шахерезада стала рассказывать Шахрияру сказки, которые прерывала под утро на самом интересном месте. Шахрияру понадобилась тысяча сказок, прежде чем он сообразил жениться на Шахерезаде. Вопросы для школьников:

1) Действительно ли любил Шахрияр свою первую жену? Или же у него сработал «Отелло-синдром»? Кстати, не следует забывать, что по обычаям своей страны, в отличие от своей бедной жены, сам Шахрияр имел для разнообразия целый гарем женщин и «изменял» с ними любимой жене сколько хотел.

2) Любил ли Шахрияр приводимых ему девственниц? В каждой из них он видел отражение своей жены, которую снова и снова нужно было убить. Словно каждый кусок разрубленного тела любимой жены превратился в отдельную женщину, которой опять нужно было отомстить за причиненную боль.

Кого наказывал Шахрияр этим бесконечным, изо дня в день, убийством своей жены – себя или ее? Шахрияр запутался в зеркальном лабиринте, где отовсюду его преследовали глаза жены, и разбить эти зеркала было невозможно, – за одним сразу вставало другое. Единственное, что могло увести его от этого кошмарного повторения, был сладкий голос Шахерезады, плетущий нить небылиц, уводящую от терзающего его сердце чудовища с телом мужчины и рогами быка, – минотавра его ревности, с которым снова и снова изменяла ему жена.

3) Любила ли Шахерезада Шахрияра? Шахерезада была, прежде всего, художником-творцом. Шахрияр был ее слушателем, от мнения которого зависела ее жизнь. Каждая ее сказка должна была быть настолько драматичной, чтобы Шахрияр, утомленный любовными упражнениями, не заснул, не дай Бог, раньше времени и отложил ее казнь до следующего утра. Если бы не Шахрияр, вернее, если бы не страх за собственное выживание, Шахерезада, возможно, писала бы совсем иные сказки, такие, какие она (а не он!) захотела бы услышать.

Скиталец: – Не правда ли эти отношения символичны вообще для любого творца и слушателя?

Разлука: – Ну да, тебя вначале насилюют, а потом под страхом смерти ты вынужден развлекать своего тирана.

Скиталец: – Конечно иногда, после тысячи сказок, дело кончается счастливой свадьбой.

Разлука: – Но возможно также, что, если бы не нужда и страх, Шахерезада вообще не стала бы сочинять сказки и тем самым лишила нас этой уникальной литературной сокровищницы.

Скиталец: – То есть Шахрияр был для нее не только тираном, но и музой.

Разлука: – Муза обычно в одной руке держит лиру, а в другой – плетку. Лирой она повернута к читателю, плеткой – к поэту.

Маугли: – Погодите, вы меня вконец запутали. Так любили Шахрияр и Шахерезада друг друга или нет?

Скиталец (сердито): – Любили, не любили... Ты волк или гадалка на картах? Все-то тебе выложи на блюдечке. Думай сам. В природе существуют миллионы оттенков цветов, отражений, преломлений света, а тебе нужны лишь черно-белые очертания.

Разлука: – Не сердись на мальчика. Его максимализм намного лучше твоего длинношеего спутника. Ох, задушит, засушит он тебя когда-нибудь.

Скиталец: – А ты, кума, байки мальчику рассказывай, а мне не приказывай.

Разлука (усмехнувшись): – Ну-ну, Скиталец, коль так, то твой черед выбирать. Крутани-ка шар, будь добр.

Скиталец крутит голубой шар. Шар вращается, по комнате прыгают голубые зеркальные зайчики. Маугли зачарованно смотрит, как шар замедляет движение, словно в музыкальном *ritenuto* в конце фразы.

В шаре отражается комната, напоминающая комнату Разлуки, но более темную и заваленную старинными книгами. В сломанном кресле сидит худой высокий человек, читая книгу и выразительно жестикулируя, словно дирижируя написанным.

Разлука: – А вот еще один типичный пример любовной горячки.

Маугли: – Кто это?

Разлука: – Это известный Дон Кихот, ставший символом безупречно-чистой рыцарской любви к своей избраннице, называемой им Дульсинея Тобосская. В ее честь сей славный малый решил странствовать по свету, наподобие нашего друга и совершать всевозможные подвиги. А как у тебя насчет подвигов, Скиталец?

Скиталец (серьезно): – Мой величайший подвиг – это выдерживать твое присутствие, Разлука.

Разлука: – Что же, сочтем это за комплимент.

Маугли: – А кто она, эта Дульсинея Тобосская?

Разлука: – Да местная потаскушка, бедное убогое создание. Дон Кихот ее видел, насколько я помню, всего пару раз в жизни.

Маугли: – Так как же он может ее любить, если даже толком не знает, что она за человек?

Разлука: – А это ему неважно. Вот послушай, что он там бормочет.

Дон Кихот (закрыв книгу и мечтательно глядя в какую-то лишь ему видимую даль): – О, моя пречистая, Госпожа сердца моего, Королева Королев, скажи как, какими подвигами мог бы я доказать мою верность Тебе, мое Божество?

Маугли: – Ничего не понимаю. Он же ее совсем не знает, как же может он ее любить?

Скиталец: – Он любит вовсе не ее. Он влюблен в идею своей влюбленности. Состояние влюбленности необходимо ему для его рыцарства. Предмет любви ему совершенно неинтересен. Помогает он настоящей Дусе или губит ее, ему неважно, ибо реальная женщина его не интересует, она не знакома ему, она для него лишь предлог для воображаемой Дульсины, которую никто и ничто не могут у него отнять, ибо она – продукт его собственного воображения.

Разлука: – Вот почему Дон Кихот – герой всех романтиков. Вся сущность романтизма – это заранее обреченная на трагичность попытка достичь недостижимого. Романтикам намного ближе герой, бесплодно сражающийся с ветряными мельницами, чем герой, борющийся с реальным минотавром собственного эго в лабиринтах своей души.

Маугли (в гневе): – Все, что вы показываете мне о любви – все ложь. Как кривое зеркало. Я вам не верю, любовь не такая. Это же все книжные персонажи, они нереальны, выдуманы, как мы сами.

Разлука (качая головой): – Ой, мой волчок, смири нетерпенье сердца своего. Что же, по-твоему, реальное, если ты сам себя считаешь выдумкой? Ты думаешь, что книжные персонажи – лишь мираж, криво отражающий реальных людей? А не задумывался ли ты, что люди, быть может, чаще отражают выдуманные персонажи, чем персонажи – людей? Что Робинзон Крузо на-

много более реален и сыграл куда большую роль в истории человечества, чем моряк, ставший его прототипом? Кто из них более реален? Тип «тургеневских девушек» в России появился после написания Тургеневым его романов. Выдуманные персонажи становятся реальными, так как влияют на сознание и входят в контакт с теми, кто с ними соприкасается, и уже одного не отличишь от другого, как в маскараде, где не знаешь, кто призрак, а кто человек.

Скиталец: – А в этом столетии, благодаря вездесущности технологии, люди превращаются в мутантов, людопризраков, подражающих героям телевизионных сериалов; взрослые подражают детям, дети – взрослым, и нет больше ни взрослых, ни детей, ни персонажей, ни актеров, а вместо них – серая толпа мутантов. Равенство, братство и солидарность безликой массы, изрыгающей рекламы и поглощающей любой товар. Хлеба и зрелищ. Мы живем до нашей эры; мы – послелюди, создающие машины и подчиняющиеся им. Мы лишены настоящего, будущего и прошлого, ибо мы не существуем, мы – сон и лишь снимся друг другу.

Разлука: – Выговорился? Опять твой Скептик к тебе вернулся? Стареешь ты, Скиталец.

Скиталец: – Стареею, Разлука. Устал я. Ох, как устал.

Скиталец вдруг выглядит осунувшимся и постаревшим.

Маугли: – Что бы вы здесь ни говорили, я хочу видеть реальных людей, а не книжных, с настоящими чувствами, а не выдуманными. Любовь – разная, есть любовь между матерью и ребенком, мужчиной и женщиной, между друзьями...

Скиталец: (перебивая): – Ах, мой мальчик, существует намного больше разновидностей любви, чем людей на свете, но все эти разновидности обладают общими основами, и эти основы и есть любовь.

Маугли: – А что это за основы?

Скиталец: – А это, мой друг, тайна, которую ты должен открыть для себя сам.

Разлука: – Ночь прекрасна. Компания пойдет нам на пользу. Ты хочешь узнать о любви, мой мальчик, так пойдем на бал-маскарад.

Маугли: – Маскарад?

Разлука: – Парад зеркальных оборотней, каждый из которых живет в тебе.

Разлука и Скиталец: – Бал-маскарад!

Маугли: – Маскарад...

II. Взаимоотношения звуков

Я лежу на полу под маленьким красным диванчиком с металлическими высокими ножками и, отколупывая с сиденья диванчика старую приклеенную этикетку, слушаю, как мама занимается с учеником.

– Это звук летящий, – говорит мама, мягко нажимая на клавишу. – Он берется, отпускается и парит, в своем полете достигая следующего звука. Так образуется интервал.

Из-под диванчика мне не видно ничего, кроме маминых ног, но я догадываюсь, что в этот момент мама проводит соответствующую дугу рукой в воздухе, изображая воображаемую траекторию полета звука.

– А вот звук задушенный, – Мама снова повторяет ту же ноту, но на этот раз нота звучит резко и неприятно. – Этот звук не просто берется, а давится, уходит в землю и лететь не может. У такого звука нет крыльев, он не может соединиться с другим звуком и образовать дружный союз-интервал. Вернее, внешне интервал выглядит так же, но внутри, между двумя нотами – не мостик соединения, не полет в воздухе, а дырка, пустота.

– А вот звук без донышка, – Мама повторяет все ту же ноту. Теперь она звучит легко и пусто. Такой звук взлетает, но он пуст и не может соединиться с другим звуком, ибо ему нечего дать и нечем поделиться.

Я догадываюсь, что в этот момент мама изображает первоначальную дугу, но прерывает ее в воздухе со знаком сожаления: мол, такой пустой звук не может перейти в другой, так как ему нечем поделиться.

Я представляю себе три сценария поведения двух звуков в зависимости от их взятия. Вот счастливая пара – два звука, летящие и обнимающиеся в воображаемом пространстве. А вот два тяжелых, задушенных звука – их двое, но каждый из них занят своими заботами, а между ними – пропасть. А вот легкомысленный звук – парящий, но пустой, не звук, а звучок. Ученик играет гамму и перед моими глазами звуки входят в сложные отношения, разворачивается драма их происхождений и взаимоотношений.

В то время меня очень интересовали интервалы. Интервал – это отношения между двумя звуками. Каждый интервал обладает тенью – обращением самого себя. Например, таинственная и тихая квинта «До-Соль» в своем обращении превращается в энергичную, бунтарскую кварту «Соль-До». Угрюмая, болезненная секунда «Си-До» превращается в пронзительную, полную ужаса септиму «До-Си». Чем меньше интервал, тем больше его обращение. Обращение – как половинка души, а вместе, интервал и его обращение образуют чистую октаву – интервал священный и совершенный...

И сотворил Бог по образу и подобию своему. И родилась октава, первый обертон, разделение и подтверждение единства всего сущего. Все интервалы обладают такой половинкой души, кроме одного – *intervale diabolico*, тритона, таинственного изгоя, демона, изгнанного из музыкального миропорядка. Использование тритона запрещалось церковью за смущение устоев своим то раздражающим, то манящим звуком, отрицающим сложившиеся веками законы и приоткрывающим дверь в опасный и заманчивой мир вседозволенности.

Интервалы могут быть горизонтальными, когда звуки берутся поочередно, или вертикальными, когда звуки берутся одновременно. Если к интервалу добавить еще одну ноту, обра-

зуются трезвучие. Каждое трезвучие обладает своим характером, положением в обществе, назначением. Одни трезвучия доминирующие, другие устойчивые, третьи – диссонантные, требующие разрешения в более консонантный аккорд. Трезвучие состоит не только из трех звуков, каждый из которых выполняет свою, отличную от других функцию (один является основой, другой может отвечать за окраску, третий – лидировать), но также из трех интервалов, внутренних отношений между членами семьи. А если добавить к трезвучию еще одну ноту, то образуется уже совсем другой аккорд, и эта нота может полностью изменить окраску и роль первоначального трезвучия.

И каждый звук – от одинокой ноты до многоступенчатого монстра – обладает своей ролью в общественной иерархии; звуковые пары складываются в семьи, семьи – в общины, в тональности, в лады, и каждая тональность, каждый лад, каждая комбинация обладает своей окраской, уникальной и живой.

Эти внутренние взаимоотношения звуков настолько поглощали меня, что я могла часами вслушиваться в один и тот же аккорд, пытаясь понять заключенную в нем драму. В звуках меня также покорила их беззащитность. Один и тот же интервал мог быть летящим, веселым, тусклым, грузным, меланхоличным и энергичным в зависимости от исполнения, от того, как он «брался» пальцами.

Я заметила, что при относительно медленном нажатии клавиши, с участием веса всей руки, звук получается глубоким, влажным и бархатистым, при высоком поднятии пальцев – отчетливым и суховатым, при активном участии кончиков пальцев – обжигающим и острым. И сейчас, лежа под диваном, я, не глядя, могла отгадать, как играет мамин ученик, в каком положении его рука и даже выражение его лица.

Но даже больше, чем беззащитность, меня покорило всемогущество звука – невозможность определить ни начало, ни конец ноты. Начало существовало до взятия звука, а конец длился после снятия руки.

Одним из любимых моих развлечений было угадывание нот. Мама просила меня спеть определённую ноту до ее проигрывания на фортепиано. Маме эта игра приносила удовольствие из-за определенной доли тщеславия, – ей нравилось демонстрировать себе и другим, что ее ребенок обладает абсолютным слухом, а мне нравилось обнаруживать звучание ноты в себе до ее звучания на рояле.

Но самым таинственным существом был унисон. Одна нота, – но бесконечное множество голосов, единство и беспредельность, основа основ – унисон. Уникальное и необъяснимое явление. Унисон, уник, умник, умык, сон, сон-нос, сонность, сонник... Я засыпаю под диванчиком, и во сне разноцветные звуки скрещиваются, летают, как странные бабочки, временами превращаясь в танцующие цветные линии, сливаясь в унисон и снова раздробляясь на миллионы вальсирующих красок.

1. В темпе вальса

Полутемная огромная зала с большими хрустальными люстрами, спускающимися на длинных чугунных цепях с потолка. На потолке, обрамленном позолоченным орнаментом, нарисовано голубое небо с маленькими купидончиками. Сквозь полумрак и кольца дыма проступают фигуры вальсирующих пар. Слышны звуки вальса – это играет небольшой оркестр, сидящий на невысокой платформе в углу комнаты. Звуки скрипок – напряженные, в музыке чувствуется внутренний надлом, но в то же время страстность. Разлука, Скиталец и Маугли входят в залу.

Разлука: – Ох, сколько здесь прелюбопытных типов. Вот посмотри на эту парочку.

Мимо проплывает высокий чернокожий мужчина в белоснежном костюме, кружащий стройную белую женщину в красном развевающемся платье и черной маске.

Маугли: – Это Отелло?

Разлука: – Это Отелло конца двадцатого века, О. J. Simon. Через пару недель он убьет свою жену и ее любовника – вон того господина. (Разлука указывает на молодого господина в плаще с капюшоном, танцующего с молоденькой девушкой в костюме нимфы, не сводящего глаз с Simon'a и его жены).

Разлука: – И после этого начнется самый длинный и нудный судебный процесс, в результате которого Simon'a объявят невиновным, хотя все знают, что он убийца.

Маугли: – Почему?

Скиталец: – Simon – национальный герой, звезда. Из героя он превратится в преступника, а из преступника – в героя.

Маугли: – Как Царь Шахрияр. Из любящего мужа – в убийцу-маньяка и снова – в любящего мужа.

Разлука: – А вон две интересные пары: Аполлон, танцующий с Монашкой, и Дионисий, танцующий с Блудницей. Монашка эта прежде была блудницей. Для нее главным в жизни была любовь к мирским радостям, к деньгам, приносящим удовольствие, мужчинам, винам и закускам. Но через какое-то время тесно и душно ей стало, поняла она тщету своего существования и ушла в монастырь, заменив любовь земную на любовь к Богу.

Скиталец: – Блудница же, танцующая с Дионисием была прежде монахиней, жила в монастыре и проводила все время в молитвах и чтении Святого Писания. Но чем больше читала она Библию и вдумывалась в слова молитв, тем теснее и душнее становилось ее душе в стенах монастыря. И начала она осознавать, что пребывание в монастыре – побег, что жизнь ее бесплодна, и нет от нее никому радости. И однажды сбежала она ночью из монастыря и с тех пор ведет жизнь блудницы, отдаваясь и радуясь всем проявлениям жизни.

Разлука: – А вон Тиран танцует с Поэтом. В свое время он бросил Поэта за решетку за песенку «Король мертв, но никто не знает». Тиран был палачом, Поэт – жертвой. Вскоре времена переменялись. Тирана посадили за решетку, а Поэта объявили

святым мучеником. Поэт написал оду, проклиная Тирана. Тиран превратился в жертву, Поэт – в палача. Палач неотделим от своей жертвы, ибо сам является жертвой своей жертвы. Авель = Каин.

Скиталец: – Вон господин, влюбленный в свое детство и ищущий его повторения в сводящих его с ума маленьких девочках-нимфетках. Видишь, как они кружатся вокруг него в хороводе?

Разлука: – А вот, у буфета, мать в костюме Геи покупает очередное мороженное своему малышу. Она считает, что любит своего ангела до безумия и во всем ему потакает. У него в четыре года два шкафа курточек, целая комната игрушек и свой счет в банке. Но мать не ведает, что губит своего ребенка, что новые игрушки и сладости ему не в радость, что всего через несколько лет он в погоне за новыми ощущениями примет слишком большую дозу наркотиков и умрет.

Маугли: – А кто тот странный господин с таким пафосным выражением лица и рядом с ним кривляка, передразнивающий его?

Скиталец: – Это прелюбопытная пара. Это Герой-мученик, влюбленный в идею и готовый пожертвовать ради нее самим собой. Идея эта может быть чем угодно – правительством, народом, наукой, мессианством. Для него это неважно. Важен сам факт героического самопожертвования. «В жизни всегда есть место подвигу». Такие люди первыми вызываются идти на фронт, на места радиоактивных катастроф, на спасательные или мессианские мероприятия, рискованные и чаще всего совершенно бессмысленные. Таким людям нужно лидировать, быть в центре событий. Их вера негибаема, и если в душе их совершается кораблекрушение, то оно, как правило, непоправимо, ибо если обесценивается сама идея, то их жизнь становится бессмысленной и страшной. А рядом с ним – Паяц. Он, в противоположность Герою, не верит ни во что, и все поднимает на смех. Но в основе его цинизма – тот же страх, что и у Героя, цепляющегося за свою идею, – страх перед са-

мим собой и жизнью. Легче поднимать на смех и обесценивать свое окружение, чтобы внутренняя пустота не бросалась в глаза, чем встретиться с самим собой. И если Герой-мученик в своей слепоте комичен, то Паяц в своем смехе – трагичен.

Разлука (тянет Маугли и Странника за собой): – Пройдем в соседнюю комнату, там интересная компания собралась.

Все трое проскальзывают в небольшую комнату. Посреди комнаты – большой шикарный стол, за ним четыре человека. Видны кружки с пивом.

Разлука: – Это Безумец, Игрок, Авантюрист и Разбойник. Безумец безумен, ибо больше всего любит свободу и боится любых пут, прежде всего пут ответственности. Единственный способ для него избежать ответственности за свои мысли и поступки – это пресечь черту нормальности в запретную зону абсолютной свободы.

Маугли: – А Авантюрист и Разбойник?

Разлука: – Авантюрист больше всего любит деньги. Но не из-за жадности, а из-за азарта, изобретательности и нетерпения сердца. Он неизбежно оказывается в проигрыше, но не теряет оптимизма и веры в удачу. Разбойник любит свое призвание. Ему нравится быть бунтарем, центром внимания, наслаждаться властью, видеть в себе Робин Гуда, революционера, смельчака. Он безнадежный романтик в молодости и просто уголовник в старости.

Скиталец: – Игрок же – особенный малый. Для него игра заменяет жизнь, религию, судьбу. Натура у него страстная и отчаянная. В картах он видит не способ времяпрепровождения, не деньги, а руку Бога, слышит смех Бога и ведет он игру не с другими игроками, а с Богом, бросая извечный вызов своему создателю.

Раздаются выстрелы. В комнате шум, переполох, визг.

Маугли: – Что случилось?

Группа людей вносит небольшого человека в окровавленной рубашке.

Маугли: – Кто это?

Скиталец: – Это Поэт. Он только что дрался на дуэли из-за любимой женщины и был ранен.

Маугли: – Он умрет?

Скиталец: – Возможно.

Маугли: – А женщина?

Скиталец: – Мужчины считают, что дерутся на дуэли, защищая честь женщины. На самом деле мужчины дерутся исключительно из-за собственной гордыни.

Разлука: – Часто это даже оскорбительно для женщины, когда ее, как какую-то вещь, разыгрывают на дуэли, не спросив ее собственного мнения.

Разлука, Маугли и Скиталец проходят в большую зеркальную залу, уже битком набитую гостями. Музыка становится все громче и быстрее; в комнате душно, люстры покачиваются на цепях, и запах вина и пива смешивается с табаком, потом и духами. У Маугли кружится голова. В это время к нему подходит обнаженная женщина с длинными рыжими волосами с вплетенным в них алым цветком.

Женщина: – Можно вас пригласить на танец, мой друг?

Женщина берет его за руку и ведет в гущу толпы. Маугли беспомощно оглядывается на Разлуку и Скиталеца, но тех уже не видно за танцующими парами. Кружатся в вальсе Мать и Ребенок, Блудница и Монашка, Аполлон и Дионисий, Отелло и О. J. Simon, Дон Кихот и Шахерезада, кружатся нимфетки и бог Пан, кружится стол с картами и вся зала с все прибывающими гостями.

Женщина кладет руки на плечи потрясенного Маугли и приближается вплотную к нему.

Женщина: – Как тебя зовут, мой друг?

Маугли (растерянно): – Ннн... не знаю.

Женщина (улыбаясь): – Ты забыл свое имя? Я буду звать тебя Адамом. Хорошо?

Маугли счастливо улыбается. Глаза женщины так близко, что он видит в них отражение кружащихся пар в зале, своих соб-

ственных глаз и нарисованное небо, пронзительно голубое и недоступное.

Гости кружатся, герои в масках, один переходит в другого, в другом повторяя свой образ. Зеркальный зал, где зеркала отражают друг друга, дробят отражения. Карнавал призраков; раздвоение, растроение, расслоение собственного лица.

...По образу и подобию своему...

Толпа зеркальных оборотней.

Добро пожаловать в театр.

– А бал ведь давно начался, господа!

Постлюдия № 24 ре минор • На пути в Аид

Я сплю. За окном низкое небо с костлявыми ганноверскими тучами. Я сплю. Ночь и день смешиваются в одно темно-серое марево. Холодно. Я просыпаюсь (просыпаюсь ли?) и натягиваю на себя три свитера и куртку. Холодно. Я засыпаю вновь и уже во сне осознаю, что больна. Меня трясет, и вся комната начинает кружиться, как гигантский корабль. В окно бросается колючий дождь, и распятые черные ветки дерева в ужасе стучатся, прося убежища.

Я сплю. И вот я уже не у себя в комнате в Ганновере, а на лодке, переплываю реку Лету, спускаясь в мрачный Аид. Волны и дождь качают маленькую ладью и, того и гляди, перевернут ее. Рядом со мной в лодке несколько серо-призрачных теней.

– Вы кто? – спрашиваю их.

– Мы не знаем, – шепотом отвечают тени, робко прижимаясь друг к другу и опасливо смотря на перевозчика с длинным шестом.

– Вы забыли ваши имена? – спрашиваю я.

Тени качают головами:

– Мы не знаем боле, кто мы, и кем мы были прежде, и куда нас везет этот угрюмый человек.

Волны кидают нашу утлую лодочку и беснуются. Вдруг лодка наклоняется, я падаю на дно, ударяясь головой о борт и теряю сознание. Последнее, что я помню – волна обжигающего холода, покрывающая меня. От холода я просыпаюсь. Пробую встать, но при первом же движении чувствую, как боль оглушительной хлопнушкой разрывается у меня в голове и растекается по вискам. Я закрываю глаза и считаю вслух до тридцати, пытаюсь обмануть боль. Плохо дело. Надо сменить стратегию. Я медленно приподнимаюсь, стараясь не шевелить головой. Мне удается сесть.

Я пытаюсь проанализировать ситуацию. День и час остаются загадкой, – за окном все та же ганноверская муть. Если мне удастся встать, то я смогу достать с полочки над кроватью градусник. Я считаю до трех и встаю. Комната на мгновение приходит в движение, но я удерживаю равновесие. А, вот и градусник. Я опять сажусь.

Итак, день неясен, но это и неважно. Важно то, что я совсем недавно приехала в Германию, что я здесь никого не знаю, а главное – что у меня кончились деньги, и нет ни лекарств, ни еды. Я вынимаю градусник. 40° С – ого! Внизу, на первом этаже живет Фрау Бюссе. Ей восемьдесят лет, я в ее доме снимаю комнату, но общаться с ней сложно, так как она не говорит по-английски, а я по-немецки.

Кроме того, лучше ее не беспокоить, она и так не хотела меня вселять. К тому же, если это грипп, то может быть разным. В маленькой комнатке около кухни живет Пэгги. Она тоже здесь учится, но она редко бывает дома, и я ее видела всего пару раз.

Но к этому времени я успеваю устать. Сооружаю из одеяла, куртки и подушек гнездо на кровати, зарываюсь в него с головой, стуча от холода зубами – скорее в сон, а дальше видно будет.

Постлюдия № 23 фа мажор • Проводник

Лодка причаливает к берегу. Тени куда-то исчезают. Угрюмый высокий проводник привязывает лодку и кивает мне:

– Пошли!

– Куда? – спрашиваю я. Но мой спутник вежливостью не отличается и, проигнорировав мой вопрос, направляется к высоким хмурым скалам. Вокруг темно; я спотыкаюсь о камень и падаю, разодрав в кровь коленку.

– Подождите меня! – кричу я проводнику, уже ушедшему далеко вперед. Самое страшное – это остаться здесь совсем одной.

Однажды, в Аспене, случайно порезавшись, я потеряла сознание. Очнувшись, я вдруг осознала, что причина боязни смерти, это даже не страх боли и неизвестности, но скорее страх абсолютного одиночества. В момент смерти – человек бесконечно одинок.

Проводник вернулся на мой зов и помог мне встать. Этот неожиданный жест доброты и человечности вызвал у меня невольные слезы признательности. Проводник достал карманный фонарик (или же он зажег факел?) и сказал:

– Ступай за мной. Осторожно, здесь много камней и ям.

– Куда ты ведешь меня?

– До поры до времени нам по дороге.

– До времени, до поры... А где мы? Какой ныне год, день, час?

– Это не важно. Важно, что ты здесь.

– Я умерла?

– Нет, ты просто спишь. Молчи, а не то разбудишь гарпий.

Я молча иду за своим неразговорчивым спутником. Скалы, ущелья, камни... Печальная и угрюмая местность. Но все же меня не покидает странное чувство. Как будто я уже видела все это, и очертания скал напоминают мне что-то забытое, что раньше вызывало совсем иные чувства. Проводник мой идет, не оглядываясь, меня же все сильнее охватывает чувство узнавания, но чего – я не могу отгадать.

Постлюдия № 22 соль минор • Наследство

Есть люди, все время ожидающие несчастья. Это осознание присутствия трагедии становится их главным стержнем, и все остальные чувства находятся словно в «зале ожидания». Такие люди боятся счастья и счастливых мгновений. Счастье для них наподобие воровства, есть в нем элемент преступления, за которое нужно расплачиваться всяческими последствиями.

Есть так же люди, обладающие «не-смотря-ни-на-что» оптимизмом. Их вера в добро столь велика, что им невольно приходится закрывать глаза на зло и жить между двумя пространствами, видимым и желанным. Такие люди, как правило, обладают необычайным шармом и магнетизмом, они видят в окружающих, прежде всего их наилучшие черты и, благодаря этому, вызывают мгновенное расположение. Они по натуре максималисты и способны либо лидировать, либо замыкаться в себе, отстраняясь от всего окружающего.

К первой категории принадлежит моя мама, ко второй – папа. Мне же в наследство досталась писательская кожа хамелеона, позволяющая «влезть в шкуру» любого человека, да щемящее чувство ностальгии из будущего перед настоящим, которое неизбежно станет прошлым.

Это осознание непоправимой хрупкости мгновения, я ощутила очень рано, сладким ядом ностальгии были отравлены мои лучшие годы детства и юности.

«...Все пройдет, как с белых яблонь дым,

Увяданья золота охваченный,

Я не буду больше молодым»,* – пела я ребенком, захлебываясь слезами от переполнявшего меня чувства скоротечности всего сущего.

Мы способны ценить мгновение лишь благодаря тому, что его невозможно повторить, и оно неизбежно попадет в улов ностальгической памяти и повторится, измененное памятью, и при этом повторном переживании принесет осознание счастья. Сча-

стве, быть может, и состоит в этом витке спирали, видоизмененном повторении, репризе, узнавании того, что уже знаешь.

Не в этом ли заключалось главное заблуждение Арнольда Шенберга и последователей додекафонии? Стремясь создать систему композиции, которая позволила бы избежать повторения и добиться «равноправия» всех нот, без деления на «классы» и «сословия» (идеал коммунистического общества), Шенберг отнял у слушателя его главную радость – радость узнавания. Ноты превратились в прохожих, где нет больше ни друзей, ни членов семьи, нет ни Бога, ни дьявола, нет диссонансов и консонансов, нет ни драмы, ни покоя – лишь колонны архитектурных звуковых блоков, бесконечный лабиринт логических построений, оживить который можно лишь искусственно, вдвывая огромные дозы эмоций, эмоций извне, что Шенберг и делает. И надо отдать ему должное, делает он это мастерски. Мастерство его еще раз подтверждает, что нет идей правильных или ошибочных, что все зависит от таланта. Если человек талантлив, он может одушевить любую идею, а если бездарен, то и самая возвышенная цель превратится в пошлость.

Мы можем узнать лишь то, что уже знаем. Процесс узнавания – это процесс вспоминания. Может поэтому *«и сладок нам лишь узнаванья миг»*, * ибо узнаем мы, прежде всего самих себя.

Постлюдия № 21 си-бемоль мажор • Лишние слова

Стоны, крики становятся все громче. Мы приближаемся к ущелью. Передо мной мелькают безумные тени, бросающие друг в друга камнями и беспрерывно кричащие от боли и отчаянья.

– Кто это? – в ужасе спрашиваю я проводника.

– Это Лишние Слова. Большинство людей тратит намного больше слов, чем необходимо. В каждое слово, в момент произношения, вселяется душа слова. Но в лишние слова, слова бессмысленные и ненужные, душа не вселяется – они, как сиро-

ты, брошенные родителями, бесконечно страдают от своего бесплодного существования.

В это время на дорожке появилась человеческая фигура. Тени закричали еще громче и стали забрасывать ее камнями.

– Это человек, потративший много лишней слов. Он умер и теперь чувствует то же бессилье и боль, что и порожденные им при жизни пустые слова. Слово – это живая энергия. Как ты да я.

Человеческая фигура под градом камней шатается, теряет равновесие и срывается с узкой тропинки в пропасть.

– Иди за мной, – мой проводник спускается на тропинку.

Я медлю.

– Иди за мной, – повторяет он.

Крики вокруг становятся невыносимыми.

– Надобылонетакпоступать, надобылонетакпоступать, надобылонетакпоступать! – слышу я с одной стороны.

– Еслибьябылбы, еслибьябылбы, еслибьябылбы, – раздается с другой.

Камень ударяет меня по лицу. Я теряю равновесие и падаю. Какая-то тень подхватывает меня.

– Немогу, немогу, немогу, немогу, – кричит она и перебрасывает меня другой тени.

– Нехочу, нехочу, нехочу, нехочу, – зло щипает меня тень и перебрасывает третьей.

– Ещенемножко, ещенемножко, – кричит третья и роняет меня на камни.

– Эй! Ша! – слышу я голос Проводника. – Ваше время не пришло.

Проводник берет меня за руку, помогая встать и ведет по ущелью.

– Неужели, неужели, неужели...

– Воттаквсегда, воттаквсегда...

– Янезнаюкак, незнаюкак, незнаюкак...

– Амогули, амогули, амогули, амогули...

Постлюдия № 20 до минор • Летучие мыши

Дорога становится все уже, скалы – все темней, и я уже почти ничего не могу различить, кроме факела проводника. Мы входим в черную пещеру. Определить размеры ее невозможно. Крик стоит такой, что кажется, вот-вот лопнет голова. По пещере мелькают миллионы маленьких теней. Приглядевшись, я замечаю, что тени эти напоминают летучих мышей, каждая из которых беспрерывно что-то кричит.

Рядом со мной оказывается человек. Он ходит по кругу, зажимая уши и закрыв глаза. Над его головой летает десяток летучих мышей, атакуя его, царапая и беспрерывно крича. К моему удивлению, я обнаруживаю, что каждая из мышей выкрикивает какое-либо ругательство.

– Это слова-ругательства. Они бессмысленны и приносят боль своим рождением себе и всем окружающим. В этой пещере люди окружены порожденными ими ругательствами и испытывают ту же боль, что и эти несчастные слова, – мой проводник кричит мне в ухо.

– Но ведь это же настоящая пытка. Неужели никто не может им помочь?

– Помочь могут другие слова.

– Какие?

– Слова доброты и прощения.

Но тут одна из летучих мышей выбивает фонарик из рук проводника, и мы оказываемся в абсолютной мгле. Крики сливаются в сплошной звон. Голова моя раскалывается.

*«Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шею ноги маячат больше невмочь.»**

Звон. Мгла. Холод. Звон.

Постлюдия № 19 ми-бемоль мажор • Ветка в окне

Звонит телефон. Я открываю глаза, но тотчас снова закрываю от резкой головной боли. Звонок. Пусть звонит. Я успею. Главное – действовать разумно и методически. Я зажмуриваюсь и сажусь на кровати. Боль выплескивается через края висков, и у меня перехватывает дыхание.

Звонит телефон. Так. Мне нужно встать и достать трубку. Это всего два шага. Звонит телефон. Стук в дверь. Голос Пэгги из-за двери:

– Лера, ты дома? Телефон.

– Я сейчас, – отвечаю я.

Голос у меня неожиданно низкий и хриплый. Звонит телефон.

– Ты в порядке? – Пэгги спрашивает за дверью.

– Да, – отвечаю я.

Звонит телефон. Это, наверное, из Нью-Йорка. Нужно взять трубку. Я закусываю губу, встаю и делаю шаг к телефону. В это время вся комната вдруг встает на дыбы, свинцовое небо вваливается внутрь, и где-то уже на другой стороне бытия звонит телефон.

Я прихожу в себя на кровати. На голове у меня мокрое полотенце. Мне больше не холодно – на мне четыре одеяла. Рядом с кроватью сидит Пэгги.

Пэгги, увидев, что я открыла глаза, говорит:

– Я услышала шум и зашла в комнату. Ты потеряла сознание. У тебя жар.

Пэгги переворачивает мокрое полотенце у меня на голове.

– Я принесла одеяла из кладовки Фрау Брюссе. Тут холодно.

– Спасибо, – улыбаюсь я, – тут действительно холодно.

– Как ты себя чувствуешь?

– Лучше.

– У меня остался суп с обеда. Хочешь, я тебе его разогрею?

По зову Пэгги в мою комнату поднимается встревоженная Фрау Бюссе, маленькая аккуратная старушка, напоминающая Ухти-Тухти, и приносит мне жаропонижающие таблетки.

И доброта двух почти незнакомых мне людей переполняет меня волной благодарности. Я знаю, что кризис миновал, я вырвалась из мрачного ущелья словесных выкидышей и уродов, что жизнь продолжается, и голая ветка стучится в окно, чтобы напомнить мне об этом.

ЧАСТЬ VI • УТРАТ-РЕКА

Трио Ор. За

III. Сарабанда для Скитальца

II. Ария Цывиля

I. Возвращение Маугли

III. Сарабанда для Скитальца

Черный лес. Холод и мрак. Ветер ломает ветви деревьев. Редкие колючие снежинки пляшут в воздухе. Появляются Скиталец и Маугли. Скиталец изможден и болен. Маугли почти несет его на себе.

Скиталец: – Подожди, сын мой, я больше не могу идти. Мы заблудились.

Маугли: – Еще немножко, Скиталец. Избушка на Конце Света должна быть совсем близко.

Скиталец: – Мы заблудились, Маугли. Раньше здесь не было леса.

Маугли: – То было раньше.

Скиталец: – Ты обманываешь сам себя. Лес не мог вырасти за такое короткое время.

Маугли: – А ты знаешь, сколько прошло времени с тех пор, как мы пустились в странствия?

Скиталец: – Нет, но это не могло быть так давно.

Они выходят на поляну, посередине которой стоит высокий дуб. Выходит луна. Теперь можно различить, что и Маугли и Скиталец сильно изменились внешне. Маугли превратился в худого высокого мужчину с бородой и с грустными глазами, чем-то напоминающими глаза Скитальца, как если бы и вправду Маугли был его сыном. Скиталец же постарел, даже одряхлел и словно стал меньше ростом.

Маугли: – Присядь здесь, у старого дуба, а я постараюсь влезть на вершину и посмотреть сверху; я уверен, лес скоро кончится, и мы совсем близко.

Скиталец тяжело садится на землю и достает из походной сумки тетрадь и перо. Маугли карабкается на дуб. Скиталец что-то пишет в тетради. В лунном луче, падающем ему на тетрадь, сверкают снежинки.

Маугли (кричит с верхушки дуба): – Лес скоро кончится. Я вижу луга и несколько хижин. Люди нам помогут с едой и ночлегом. Они наверняка знают путь к Концу Света. Держись, Скиталец. Нам осталось совсем немного.

Маугли спускается с дуба.

Скиталец (не меняя выражения): – Давай посидим у этого дерева, сын мой. Посмотри, как красиво играют снежинки в лунном свете.

Маугли: – Если мы сейчас здесь задержимся, мы от усталости заснем. Идет снег, и мы можем во сне замерзнуть насмерть.

Скиталец: – Я не могу больше идти. Мне нужно отдохнуть.

Маугли: – Я понесу тебя.

Скиталец: – Ты далеко меня не унесешь. Скептик во мне тяжел, не унести тебе нас.

Маугли: – Ты никак не можешь от него отделаться?

Скиталец: – Слишком поздно. Он теперь стал мной. Как сиамский близнец.

Маугли: – Тогда ты посиди здесь под деревом, а я побегу за помощью. Я уверен, что хижины, которые я видел, всего в полчаса ходьбы. Я тебя укрою, чтобы ты не замерз и вернусь с подмогой.

Скиталец: – Хорошо, Маугли.

Маугли (укрывая Скитальца одеялом и вещами из походной сумки): – Тебе холодно?

Скиталец: – Нет, мне хорошо. Посиди со мной немного.

Маугли: – Может ты наберешься сил после короткого отдыха, и мы вместе продолжим путь? Мне немножко жутковато оставлять тебя здесь одного.

Скиталец: – Но это единственный выход.

Какое-то время оба сидят молча.

Скиталец (тихо): – Я сожалею...

Маугли: – О чем?

Скиталец: – Что взял тебя с собой.

Маугли: – Почему?

Скиталец: – Ты знал о мире больше, когда его не видел.

Маугли: – Как я мог знать то, что не видел?

Скиталец: – Видеть ты увидел, а понять не понял. Как, впрочем, и я сам.

Маугли: – Ты самый умный человек, которого я видел. Может быть, за исключением Мудрого Отшельника. И то я не уверен...

Скиталец: – Умный-то я умный, да не мудрый, иначе не обзавелся бы вот этим богатством.

Скиталец кивает на выползшего и устроившегося у него на плече Скептика. Скептик утвердительно кивает.

Маугли: – А как ты обзавелся Скептиком?

Скиталец: – Началось все по мелочам. Главным образом с разочарования. Я разочаровался в себе, разочаровался в девушке, которую любил и которую из-за своего разочарования погубил. Меня мучило чувство вины и ненависти к себе и единственным способом существования для меня стало видение мира сквозь глаза Скептика. В самом деле, если мир вульгарен и плох, то мне, разочаровавшемуся в себе, становится немного лучше – мол, не один я такой, я даже умнее других, ибо могу над всем скептически иронизировать и обесценивать любое достоинство. Так я навязал себе Скептика, пока он не стал мне необходим, и без него мне становилось страшно, как ребенку в темноте. Он стал мной, моей тенью, двойником, моим спасением и мучением. Берегись разочарования, Маугли, – это капкан,

из которого трудно выкарабкаться. Я боюсь, что наши странствия тебя разочаровали и виню в этом себя.

Маугли: – Но я должен был узнать мир.

Скиталец: – В том-то и беда, что ты его не узнал! Ты его видел, но не узнал. Скажи, что тебе запомнилось больше всего?

Маугли: – Ну... всего не припомнишь...

Скиталец (прикрыв глаза): – И все же...

Маугли: – Ну, например, Царство Скуки. Там люди, как тени или роботы – скучно им жить. Утром школьники идут в школу – скучно им в школе, взрослые скучают на работе, любовники скучают в постели, пожилые – у телевизора. Молодые закатывают друг другу скандалы и создают из своей жизни сюжеты почище любой мыльной оперы, а все из-за скуки. Там даже убийства происходят из-за скуки. Поразительная страна. Или, например, Страна Погони за Будущим. Удивительные там люди живут. В жизни их интересует только будущее. Естественно, что будущее, как линия горизонта, чем ближе к нему приближаешься, тем дальше от него находишься. В этой стране – культ детей. Чем младше ребенок, тем больше его ценность, ибо ему принадлежит будущее. К старикам хоть и относятся терпимо, но тем не менее смотрят на них, как на отходы производства и помещают их в так называемые «Общежития смерти», где старики ждут своего часа, пьют жиденький чай, играют в домино и говорят о правнуках. Больше всего людей там интересует технологии будущего. Люди разрабатывают сложнейшие технологические проекты и новые машины, которые умудряются устареть к моменту выпуска. Это люди без памяти, без прошлого, без настоящего, живущие в постоянной гонке, всегда неуспевающие, обманутые обманщики, с которыми Время играет в скверные жмурки. А еще мне запомнился Округ Сидящих Между Двумя Стульями – край людей, не способных на принятие решений и всю жизнь мучающихся вопросом – а правильно ли они поступили. К таким людям принадлежит много иммигрантов, все пытающихся решить, а правильно ли они сделали, что перееха-

ли; и в результате они не в состоянии жить ни на новом, ни на старом месте. В этом Округе много супружеских пар, которые продолжают жить вместе не потому, что они любят друг друга, а потому, что боятся оказаться в полном одиночестве. Так же запомнился мне монастырь, называющийся «Дом Любви» и бордель под тем же названием. Но ни монахини, ни проститутки не знали ни Бога, ни любви.

Скиталец: – Забудь, сын мой, все, что видел. Ты видел, но не понял. Ты смотрел на мир моими глазами, а я давно потерял чистоту взгляда.

Маугли: – Почему?

Скиталец: – Мир – это твое зеркало. Зеркало с двойным стеклом. На каждую вещь можно смотреть с разных сторон, и каждый раз она откроется по-разному. Ты высокомерен, мой мальчик, высокомерием молодости. Но молодость так же близорука.

Маугли (помолчав): – Я никогда не спрашивал, что случилось с твоей любимой? Но если не хочешь, можешь не говорить.

Скиталец (задумавшись): – Верно, такой уж сегодня день, что придется мне рассказать и об этом.

Маугли: – Но только, если ты сам этого хочешь.

Скиталец (медленно, с трудом): – Я был молод тогда. Очень молод. И счастлив. Я любил самую прекрасную девушку на свете и был любим. Я ей сделал предложение. Она приняла его. Я был самым счастливым человеком на свете. Пока в меня не вошел дух сомнения. За день до нашей свадьбы я стал сомневаться в правильности моего решения. Свадьба вдруг представилась мне омутом, полным обязанностей, криками младенцев, оседлой размеренностью жизни. Я уже тогда писал стихи и помышлял о славе. Мне хотелось странствовать, посмотреть мир, учиться. С женьбой это все вдруг показалось невозможным. Моя девушка, мой ангел, вдруг представилась мне лет через десять матерью четырех детей, хлопочущей у плиты хозяйкой, и я увидел себя, располневшего, довольного отца семейства. Картина эта вызвала

ужас во мне. Нет, не таким хотел я видеть свое будущее. Короче, я сбежал. В день свадьбы я оставил своей невесте записку: «Мой ангел, я не достоин быть твоим мужем. Прощай навеки», а сам ушел налегке из дому. Я шел весь день, стараясь ни о чем не думать, а ночью, зарывшись в стог сена, я осознал, какую страшную ошибку я совершил. Я понял, что не мыслю жизни без этой девушки, что без нее я буду проклят и осужден на вечное одиночество, что не будет мне прощенья, если я сам, своими руками сломал посланный мне небесами цветок счастья. Я вылез из стога и побежал. Я бежал всю ночь. Начался ливень, я продолжал бежать. Я насквозь промок от дождя и от слез, мне было страшно, молнии сверкали совсем рядом, и я просил их испепелить меня, ибо я погубил свое счастье. Я бежал всю ночь и к утру вернулся в город.

Маугли: – Что же случилось дальше?

Скиталец (помедлив): – Моя любимая, прочитав мою записку, покончила с собой. Выбросилась из окна. Когда я вернулся, она была уже мертва.

Маугли (поежившись): – Какая ужасная история.

Скиталец: – С тех пор я брожу по свету и смирился со своим одиночеством.

Маугли: – Но ведь ты не одинок, Скиталец.

Скиталец: – Ну да, я забыл про Скептика.

Маугли: – Я не имел в виду Скептика. У тебя теперь есть я. Я сын твой, Странник, будь же моим отцом.

Маугли обнимает Скитальца. У обоих слезы на глазах.

Скиталец: – Не скрою, я привязался к тебе, волчонок. Я всю жизнь мечтал о сыне.

Маугли: – А я об отце.

Скиталец: – Бог милостив. Хотя милость его часто приходит с опозданием.

Темнеет. Тучи закрывают луну.

Маугли: – Темнеет. Ты можешь подняться?

Скиталец (безуспешно пробует встать): – Нет, Маугли, иди один.

Маугли: – Я побегу к хижинам, которые увидел с дерева и вернусь с подмогой. А ты отдохни здесь.

Скиталец: – Я допишу свою книгу.

Маугли: – Твою книгу стихов и наблюдений?

Скиталец (утвердительно кивая): – Если со мной что-нибудь случится, сбереги эту тетрадь, в ней мои лучшие стихи.

Маугли: – С тобой ничего не случится, а за тетрадь будь спокоен.

Маугли целует старика, укрывает его потеплее и убегает в лес. Скептик перемещается с плеча Скитальца на его голову и обвивается вокруг его шеи, как шарф.

Скиталец: – Погоди, голубчик, теперь совсем немножко осталось.

Пишет что-то в тетрадь. Снова идет снег и выходит луна. Скептик теснее обвивается вокруг шеи Скитальца. Теперь голова Скептика маячит над головой Скитальца, а шея Скептика, как змея обвивается вокруг шеи Скитальца. Скиталец хрипит. Перо выпадает у него из руки. Скептик напрягается и душит Скитальца. Тело Скитальца обмякает и валится в сторону. Над Скитальцем, не размыкая страшного объятия, покачивается Скептик, как часовой. Становится очень холодно и видно, как в лунном луче блестят колючие снежинки.

II. Ария Цывиля

Марианна вяжет кружки из старых тряпок. Тряпки разрезаются на тонкие длинные полосы, полосы эти сшиваются и сматываются в толстый разноцветный клубок. Железный крючок мерно движется. Я выжидаю момент для очередной шалости – размотать клубок, вложить крючок в карман няниного фартука, или еще что-нибудь в этом роде. Когда-то няня была искусной вышивальщицей и шила много красивых покрывал, подушек и штор. А

сейчас она просто коротает время за изготовлением кружков из старых тряпок. Потом она продает эти кружки по рублю и у нее их охотно покупают – всем нужен половичок перед дверью или коврик в ванную.

Марианна смотрит на меня, откладывает в сторону начатый кружок, достает из сумки термос с чаем и, завернутые в целлофановый пакет, бутерброды с вареньем. Вот он, долгожданный момент. Я тихонько толкаю моток тряпок, он катится по скамейке, падает на землю и разноцветной змейкой струится дальше.

– Боже мой, наказание, а не ребенок! – всплескивает руками няня.

Я надуваю губы, лукаво улыбаясь:

– Это я нечаянно...

– За нечаянно бьют отчаянно, – сердито отрезает няня, – Не получишь бутерброд! А ну-ка, собери клубок.

Я сматываю клубок. Няня недовольно фыркает.

– Егоза, только баловство у тебя на уме.

Я, от греха подальше, решаю собрать букет из опавших листьев и отхожу за спинку скамейки, туда, где растут деревья городского парка. Марианна допивает чай и снова принимается за вязанье.

Рассматривая под ногами опавшие листья, я рассуждаю вслух сама с собой, причем, рассуждение ведется в виде диалога, где мое «я» раздваивается: одно «я» – взрослого человека из неопределенного времени зазеркалья, другое «я» – меня теперешней, маленькой девочки, знающей о своем взрослом контрапункте и оттого ведущей речь с затаенной лукавостью, в то время, как взрослый голос из иного времени отдает мягкой грустью.

– Цывиль продолжает себя плохо вести, а ведь Цывиль вчера была наказана, – говорит мое взрослое «я» по другую сторону зазеркалья.

Цывиль – имя собаки из моего любимого фильма. С момента просмотра этого фильма, дома я откликалась только на имя Цывиль.

– Вчерашнее наказание не соответствовало преступлению, а сегодняшнее – вообще не в счет, – лукаво, с детской уверенностью отвечает маленькая Лера.

– Не тебе судить о мере преступления, не тебе знать о мере наказания, – вздыхает большая Лера.

– Цывиль думает иначе. Гав!

– Цывиль думает, что думает иначе. До поры, до времени, – с улыбкой отвечает голос из зазеркалья.

– До времени, до поры.

Я наклоняюсь за кленовым листом. Лист тонок и силуэт его словно вырезан наискуснейшим мастером.

– А где ты находишься? – спрашивает Цывиль.

– Там же, где и ты.

– Ты – взрослая, значит ты либо жила до меня и уже умерла, либо я стану тобой и тебя еще нету.

– Либо то и другое и третье.

– Что же третье?

– Что я – это настоящее время, а ты – мое воспоминание.

– Скорее, это я – настоящее время, а ты – мое будущее.

– Или же настоящее и со мной, и с тобой одновременно, ведь ты – это я. Возможно, что мы смотрим друг другу в глаза сквозь волшебное зеркало времени.

Маленькая Лера задумывается, ковыряя носком сандалий опавшую листву.

– Но мне тебя не видно, я тебя просто чувствую.

– Ты можешь видеть чувствами, а это главное.

– Я не хочу расти и стать взрослой, – говорит твердо Цывиль, – Не хочу становиться тобой.

– Ты забываешь в своей категоричности, что я – это ты. Я по-прежнему ребенок, хоть и кажусь тебе взрослой сквозь стекло зазеркалья.

– Взрослые – несправедливы. Меня вчера забыли в кладовке. Забавно, не правда ли? – В моем голосе звучат нотки еще не зажившей обиды.

– Я тебе открою один маленький секрет: взрослые – это дети, а дети – это взрослые. Взрослые отнюдь не так плохи, они просто не помнят о главном, они играют в свои игрушки – кто в деньги, кто в работу, кто в семью – и забывают о главном. Дети мудрее, им нужно прощать взрослых.

– Что же главное?

– А как ты считаешь?

– Цывиль не знает.

– Цывиль знает. Не увиливай. Что ты любишь больше всего?

– О, много чего... Но это все не главное, – Я смотрю на кленовый лист и продолжаю, – Мне нравится подбирать красивые листья, когда они вот такие, как этот; мне нравится лежать под диваном и слушать музыку; мне нравится, когда Аличка готовит третий торт – она тогда такая торжественная и довольная; мне нравится кормить голубей и воробьев; мне нравятся кладбищенские нищие – они таинственные; мне нравятся счастливые номера на проездных билетиках – такой счастливый билетик я кладу на ладонь и, когда ветер сдувает его, шепчу заклинание: «лети, счастливый билетик, далеко-далеко, в далекую Москву к брату Игорю, принеси ему удачу». Еще мне нравятся, безумно нравятся лошади, собаки и самокаты, а еще нравятся мультфильмы и когда мама мне читает перед сном, но обязательно с пояснениями, так как у мамы плохой вкус и вместо интересных сказок она выбирает рассказы про некоего Донкого Хота, которые совершенно невразумительны без ее пояснений, но все же лучше, чем рассказы Шекса Пира, который столь плохо владел языком, что понять его истории без пояснений просто невозможно. Я ей говорила: ты мне скажи свои пояснения, без чтения, но она считает, что нужно читать все вслух, – не могу же я ей прямо сказать, что это плохо написано и в ее пересказе намного лучше. Помню, в мою короткую бытность в детсадишке,

как-то воспитательница спросила, кому из нас родители читают перед сном вслух. Я подняла руку и сказала – мне читают Шекса Пира, за что воспитательница поставила меня в угол, сочтя слова мои нахальством, а остальные дети решили, что я сказала какое-то неслыханное ругательство и смотрели на меня с уважением; а мне смешно было стоять в углу, ну не моя же вина, что зовут его так чудно и писать он совсем не умеет. Но все равно мне нравится, когда мне читают вслух, даже неважно что, важен звук голоса. А еще мне нравится, когда гроза и можно промокнуть насквозь и бегать по лужам, загребая сандалиями воду и рыча на гром. Гав! – я перевела дыхание.

– Ты любишь все то, в чем есть чудо сотворчества, тайна, которую знают маленькие дети, но о которой часто забывают взрослые.

– А в чем тайны нет?

– Тайна есть во всем, но ощутить ее дано не всем и не всегда.

– Но я также многое не люблю. Не люблю завязывать шнурки на ботинках, потому что не знаю, как сделать узелок, не люблю царапающихся кошек, не люблю, когда мне стригут ногти на ногах, не люблю, когда кричат, не люблю, когда меня забывают в кладовке, не люблю, когда темно.

Последняя фраза напоминает мне о вчерашней обиде. За плохое поведение мама утром посадила меня в кладовку, в которой предварительно выключила свет и сказала, что выпустит меня через десять минут, после чего обо мне забыла и ушла на работу. Когда пришла няня, не увидев меня, она решила, что мама взяла меня с собой.

Надо сказать, что я их оплошность обнаружила довольно рано и, так как дверь кладовки была не заперта, прокралась в спальню – к ящику, в котором, среди прочих богатств, у меня был карманный фонарик, и на кухню, откуда мне удалось взять пару яблок, – и вернулась обратно на место своего заточения, чтобы провести остатки дня в относительном комфорте, играя

металлическими солдатиками, пылящимися там с незапамятных времен, когда Игорь был в моем возрасте и положении.

Так же необходимо упомянуть, что, услышав приход няни, я не подала ни звука, точно так же как, когда мама вернулась с работы и спросила няню – «а где же ребенок?» – я молчала, ожидая своего часа. И этот час пробил.

– Я думала она с вами, – на мамин вопрос ответила няня.

О боги справедливости! Обо мне вспомнили!

– Боже мой, я же оставила ее в кладовке, в темноте, еще утром! – ужасается мама.

Дверь в мою темницу открывается.

– Лерочка, ты здесь?

Я сижу в платяном шкафу и гордо молчу.

– Она в шкафу, – говорит няня.

– Цывиль, ты здесь? – мама открывает дверь шкафа. – Извини меня, я совсем закрутилась с этими безмозглыми (мама подразумевает учеников). Я была уверена, что ты уже давно вышла.

Это неправда, просто обо мне забыли и не вспомнили до вечера. Непростительное преступление. Но под моей насупленностью скрывается лукавство, ибо в кладовке мне вовсе не плохо, а даже хорошо, особенно когда есть карманный фонарик, и все выглядит таким таинственным. Мамино раскаянье искренне, я давным-давно ее простила, и ситуация дает мне то преимущество, что меня не скоро опять закроют где-либо помимо моей воли, что всегда, и с этим трудно не согласиться, весьма унижительно, даже если у тебя есть фонарик и металлические солдатика для собственного утешения.

Я неожиданно замечаю, что становится прохладно и начинает темнеть. За этими рассуждениями я совсем забыла о Марианне! И после этого я виню маму с ее рассеянностью... Я встряхиваю собачьи головой и оглядываюсь. О ужас! Скамейки, где я оставила Марианну вязать кружки, нигде не видно. Вокруг меня лишь деревья городского парка, и я не имею ни малейшего представления, откуда я пришла и в каком направлении мне нужно идти. О ангел

ужаса, ужасный! Я бросаюсь в одну сторону, в другую, кричу – все безрезультатно. Страх и раскаянье сжимают мне сердце. Мне страшно прежде всего за Марианну.

Я представляю себе, как она, отложив еще не оконченный кружок в сторону, зовет меня, оглядывается и видит, что меня рядом нет. Как она зовет меня, но тщетно. Как представляет она страшные кошмары про знаменитых злых дядек, которые охотятся за маленькими девочками, чтобы похитить их навсегда; как моя няня хватается за сердце и падает замертво, не в силах посмотреть моей маме в глаза. За себя я не боюсь – я уверена, что со мной все будет хорошо, и Бог меня выведет из любого хитро-сплетения. Как я могла так безответственно уйти, забыв про все! Как ужасно с моей стороны.

Я бросаюсь бежать сквозь деревья по хрустящим осенним листьям и сердце оглушительно бьется у меня в висках. Я падаю и раздираю о ветку платье, за это мне тоже влетит, но это сейчас не важно, важно во что бы то ни было найти скамейку с Марианной, чтобы предотвратить ее гибель. Я выбегаю на аллею. Скамейки нигде не видно. Куда дальше бежать, направо или налево? Я машинально представляю себе клавиатуру рояля, чтобы вспомнить, где правая рука, где левая. Там, где были бы басовые ноты, – левая, а там, где мелодия, – правая. Но столь безошибочное знание сторон мне в этом случае совсем не помогает, ибо на какой клавиатуре написано, какая из них приведет к желанной скамейке? Возможно, что эта аллея вообще туда не ведет и, как раз наоборот, уведет меня еще дальше. В отчаянье я опускаюсь на землю около упавшей березы и начинаю страстно молиться:

– Боженька, всесильный и всемогущий, прости меня, что вспоминаю о Тебе только, когда мне плохо; это не из-за невнимания или непочтительности, а как раз наоборот, чтобы не докучать Тебе, Господи, молитвами маленькой девочки. Я же знаю, Боже, как ты занят и что у тебя дел невпроворот. Господи, прости меня, что я такая невнимательная и укажи мне путь к Марианне. Если ты меня выведешь к Марианне, я исправлюсь, я

буду вежливой со взрослыми, я не буду никому мешать, я буду слушаться маму, ты увидишь, Боженька, пожалуйста, ну что тебе стоит? Если ты меня выведешь, я отдам мои лучшие игрушки Максимке. Господи, помоги мне.

Я плачу. В конце аллеи появляется человеческая фигура. Мои слезы мгновенно высыхают. Я так рада увидеть человека, что забываю все предостережения и бросаюсь навстречу. Позже я вспоминаю, что человек этот шел как-то странно пошатываясь, то есть, скорее всего, был либо болен, либо пьян, либо и то и другое.

– Извини, дяденька, ты не видел бабушки на скамеечке? – В ту пору я всем подряд тыкала, но не из-за отсутствия вежливости. Обращение на «вы» почему-то казалось мне комичной попыткой взрослых к самовозвышению, и в каждом «вы» все равно где-то сидело «ты» под слоями бантиков и кружев отношений (бантики и кружева я никогда не любила). Позже, это свойство перешло в другую крайность, и сейчас я не могу себя заставить сказать человеку «ты», ибо от «ты» несет фамильярностью и режет слух ложным товариществом, тогда как «вы» – всегда благородно.

Человек остановился и посмотрел на меня, посмотрел по сторонам, словно пытаясь определить, не обращаюсь ли я к кому-нибудь еще. Я заметила, что он покачивается, но было уже поздно поворачивать на попятный.

– Извини, дяденька, ты бабушку не видел? – снова спросила я.

– Я? Бабушку? – переспросил пьяный.

В тот момент я вспомнила рассказы про злых дядек, похищающих маленьких девочек. Незнакомец явно был странный, весь какой-то вывихнутый и неприятный. Мне стало не по себе.

– Большое спасибо. Вы мне очень помогли, – вежливо сказала я, пятясь назад от незнакомца.

– Я видел бабушку, – вдруг говорит незнакомец. – И даже много бабушек. Очень много.

– Еще раз большое спасибо, – говорю я. – Извините, но мне нужно бежать, я очень спешу!

Поворачиваюсь от него и бегу изо всех сил. И слышу, как вслед мне раздается:

– Очень много видел бабушек. И даже не только бабушек...

Ух, слава Богу, удалось от него ноги унести. Какой странный тип попался. Сердце у меня отчаянно колотится. В другом конце аллеи показывается еще один господин. Ну, сейчас я буду осторожнее. Я замедляю шаги, время от времени, косясь на приближающуюся фигуру. Вроде бы не качается. Все равно лучше с ним не заговаривать. Но мужчина перекрывает мне путь. На нем смешной старомодный цилиндр.

– Скажите, что делает такая маленькая девочка здесь совсем одна?

Я пытаюсь определить, кого этот человек спрашивает, так как на аллее кроме нас двоих никого нет, но быстро соображаю, что это один из бессмысленных взрослых вопросов, на которые они не ожидают ответа.

– Ты потерялась, девочка?

Я неопределенно пожимаю плечами. Это пожатие могло означать: «Ну разумеется, потерялась. И вовсе необязательно так напрямую спрашивать, если это и так очевидно». Или же оно могло подразумевать: «Потерялась? Какое нелепое слово. Неужели невозможно просто так мне одной прогуливаться ради свежего воздуха? Это даже оскорбительно. Потерялась...»

Но господин, очевидно, не стал вникать в возможные интерпретации моего жеста.

– Вот там, за поворотом, бабушка сидит на скамейке и что-то вяжет. Это не твоя бабушка, случайно?

Я в упор смотрю на господина в шляпе-цилиндре.

– Бабушка? Это Марианна!

– Пойдем, я тебя провожу. Дай руку.

Я на мгновение колеблюсь, помня предупреждения насчет злых дядек, похищающих маленьких девочек, и смотрю на господина в шляпе. У него добрые, смеющиеся глаза. Нет, он определенно не похож на злого дядьку. Я даю ему свою руку, и

мы идем до конца аллеи, где за поворотом, в нескольких метрах я вижу скамейку с ничего не подозревающей Марианной, по-прежнему вяжущей свой коврик.

– Марианна! – радостно кричу я и, забыв про моего провожатого, стремглав мчусь к скамейке, но посередине пути останавливаюсь и оборачиваюсь к Цилиндру:

– Спасибо, дяденька! – но того уже нигде не видно.

1. Возвращение Маугли

Избушка Мудрого Отшельника на Краю Света. Ураган. Низкие, разодранные тучи, мелкий снег, смешанный с градом, ветер и мрак. К избушке, пошатываясь от ветра, приближается человеческая фигура. Это Маугли. Вид у него ужасный. Одежда разодрана, сквозь лохмотья видны кровоподтеки, один глаз распух и заплыл, на виске запеклась кровь.

За Маугли, соблюдая дистанцию в несколько метров, стелется Скептик Скитальца, как верный, но нелюбимый пес за суровым хозяином. Маугли поднимается на крыльцо и стучит кулаком в дверь.

– Мудрый Отшельник, открой дверь, это я, Маугли, я вернулся.

Дверь не отворяется. Маугли стучит кулаками, а после пинает дверь ногой.

– Это я, Мудрый Отшельник, маленький волчонок, которого ты послал в мир, чтобы найти в нем любовь. Открой же дверь, посмотри, что случилось с твоим волчонком, как любовно раскрасил его мир.

Пинает дверь ногой.

– Или, может, Мудрый Отшельник не узнает того мальчика и боится открыть дверь, думая, что я не в себе? О нет, Мудрец, я – в себе. Я увидел мир и стал тем, кем становятся все его обитатели – стал зверем в человеческом обличье, ибо это и есть лицо мира. Что же ты сделал со мной, а, Мудрец? Быть может, ты бо-

ишься посмотреть на дело слов своих? Зачем посылал ты меня искать то, чего нет на свете? Или же у тебя не хватило мужества сказать мне, что любви нет, не существует, что это лишь сказка для детей дошкольного возраста? Как не хватило у тебя мужества сказать в свое время Скитальцу, что и счастья нет, что все это выдумка больной человеческой фантазии? Или, может быть, живя на Краю Света, ты забыл о том, что такое жизнь? А быть может, ты вовсе не мудр, а, Мудрый Отшельник? Быть может, ты глуп, просто глуп, ведь если ты не глуп, то тогда ты подл, ибо только подлец может подавать другим надежду и посылать их искать то, чего нет.

Маугли разбивает руки в кровь и сползает на крыльцо возле двери. Он плачет:

– Зачем, зачем ты обманул меня, Мудрый Отшельник? Зачем ты послал меня искать любовь, зная, что нет ее, нет, что люди не способны на любовь, что они слишком эгоистичны и невежественны, зачем? Если бы я не отправился в странствия, я бы не встретился со Скитальцем и мне не было бы так больно, так бесконечно больно и пусто в мире сейчас, когда он умер. Почему, почему он должен был умереть, а, Мудрый Отшельник? Или же ты тоже умер? Или же весь мир умер, кроме этих подлецов, разбивших мне лицо, думающих, что я украл их коня, старую клячу, не желавшую меня слушаться, словно я волк, а не человек, впрочем, я и есть волк; да этой мрази Скептика, волочащегося за мной, как змей. Говорю ему: «Я не Скиталец, не Скиталец я! Скиталец умер, оставайся и стереги его могилу под деревом.» А он не слушает и ползет за мной, как побитый пес, упрямый и настырный и страшно мне, что не отделаться мне теперь от него, что я – это Скиталец, а тот, в могиле – Маугли, что это я навеки умер и мне теперь предстоит узнать одиночество. Да, так оно и есть. Тот мальчик, которого ты посылал найти несуществующую любовь, – его нет, нет, он умер! Зачем я остался жить, зачем эти дубинообразные крестьяне не убили меня?

Маугли плачет, закрыв лицо разбитыми руками и падает на крыльцо в беспамятстве. В нескольких метрах от крыльца покачивается на тонком змеистом тельце голова Скептика, с тревогой наблюдающего за ним. Дверь в избушку раскрывается. На пороге с фонарем в руке появляется Разлука. Увидев под ногами Маугли, она вешает фонарь на крюк и втаскивает Маугли в дом. Скептик делает движение, пытаясь проскользнуть в дверь, но Разлука показывает ему кулак. Дверь закрывается.

Скептик заползает на крыльцо, дотягивается до дверной ручки, а от дверной ручки до крюка, на котором висит фонарь, обматывает свое змеиное тельце вокруг фонаря, а голову кладет сверху, так что она отсвечивает красными блестками. Теперь самого фонаря не видно, зато Скептику тепло, и он может спокойно дожидаться возвращения своего молодого хозяина.

Внутреннее убранство дома ничем не отличается от комнаты Разлуки из предыдущего действия. Все тот же стол с голубой сферой, старинное зеркало на стене. Разлука волочит Маугли через всю комнату к темному чуланчику, за которым дверь в уборную. Там стоит старая облезлая ванна. Разлука тащит бесчувственного Маугли к ванной, наклоняет его через бортик, берет наполненный водою глиняный кувшин с полки и льет воду ему на голову, одновременно смывая кровоподтеки на лице и руках.

Маугли (тихо): – Где я?

Разлука: – Тс-с-с... Молчи, сынок, ты там, где должен быть.

Разлука умными женскими руками ловко снимает с Маугли лохмотья, отвязывает от его пояса холщовую сумку с тетрадкой Скитальца и раздевает Маугли донага. Он не сопротивляется, только, когда Разлука берет сумку с тетрадкой Скитальца, подает голос.

Маугли: – С этим осторожно.

Разлука (набирая в ванну воду): – Не учи ученую. Ох, не пристало мне на старости лет таскать на себе взрослых мужчин. А ты тоже хорош, расшумелся, чуть дверь мне не снес.

Маугли: – А где Мудрый Отшельник?

Разлука: – Какой Мудрый Отшельник?

Маугли: – Что значит, какой Мудрый Отшельник? Разве это не его избушка?

Разлука (добавляя в ванну различные порошки из высушенных трав, отчего по всей избушке распространяется колдовской травяной запах): – Избушка эта моя, и живу я в ней одна, как и подобает почтенной даме на старости лет, покуда не обрушиваются тут всякие и не начинают колошматиться в дверь так, что с Краю Света упасть можно.

Разлука обхватывает руками Маугли, неожиданно поднимает его, как ребенка, и кладет в благоухающую лечебной травой воду.

Разлука (кряхтит): – Ох, спина моя, спинушка старая. Тяжелый ты стал, волчонок, даром только вот худ как щепка.

Разлука намыливает мочалку и трет Маугли спину. Маугли лишь вскрикивает время от времени, когда она задевает мочалкой синяк или порез.

Разлука: – Да ты не дергайся. Вот, погоди...

Разлука открывает настенный шкафчик и что-то там ищет.

Разлука (бормочет): – Высушенные пауки, мотыль... Ага, нашла! Уж не думала, что пригодится вновь! – протягивает Маугли бритву и зеркальце, – Не теряй времени, здесь не Римские купальни Баден-Бадена, где тебя мылят и трут мочалкой, давай, работай тоже. Вон как оброс, чучело.

Маугли покорно брется.

Разлука (ворчит): – Тоже мне, любовь ему подавай. На блюдечке с голубой каемочкой. А не то он всю дверь расшибет. А мне вот задал работу на старости лет. А кривошеего этого зачем приволок?

Маугли: – Какого кривошеего?

Разлука: – Ну, это кривошеее животное, Скептика? Что, мало тебе, что он Скитальца удушил? Ты этого тоже хочешь?

Маугли (резко): – Скиталец умер от жизненных невзгод. Говори о нем попочтительней.

Разлука: – Не учи ученую. Скитальца задушил Скептик. Я давно ему это говорила. Еще до того, как ты разбил зеркало.

Маугли: – Разве я разбил зеркало?

Разлука: – Не притворяйся дурачком. Если не ошибаюсь, то осколок этого зеркала у тебя лежит, завернутый в носовой платок, в сумке, рядом со стихами Скитальца.

Маугли: – Неужели нет для тебя ничего святого, Разлука?

Разлука: – С каких это пор ты стал поучать старших? Раньше, помнится, ты все хотел научиться, а теперь ты уже учишь других? Не по совету ли своего кривошеего спутника?

Маугли: – Я его с собою не брал. Он сам увязался.

Разлука: – Никто и никогда сам не увязывается. Ну все, теперь ты как новенький. Встань-ка.

Маугли вылезает из ванны. Разлука растирает его большим полотенцем, надевает на него бордовый махровый халат, ведет в гостиную и сажает на кресло-качалку возле камина. В камине трещат дрова и весело играет огонь. На спинке кресла вырезаны две причудливые химеры, отбрасывающие длинные тени на стену.

Маугли слегка покачивается в кресле-качалке. Сейчас, без бороды, он снова выглядит юным, но лицо его измождено и взгляд полон внутренней боли. Разлука какое-то время внимательно смотрит на него, затем пододвигает второе кресло к камину и садится напротив.

Разлука: – Что-то я не слышу слов благодарности. Насколько помнится мне, всего час назад ты лежал без сознания, в крови и соплях на морозе, а сейчас ты свеж, как огурец в парнике, и все благодаря моим старческим усилиям.

Маугли: – Я был бы куда более признателен, если бы ты оставила меня умереть на крыльце, кума.

Разлука: – Кумой называл меня Скиталец. Тебе я не кума.

Маугли: – А кто я, по-твоему, если не Скиталец? Прежний Маугли так же мертв, как и прежний Скиталец.

Разлука: – Как я вижу, благодарностей от тебя не дождешься. Скажи лучше, кто это тебя так разукрасил.

Маугли: – Мы заблудились со Скитальцем в лесу. Он был болен и не мог больше идти. Я влез на дерево, увидел несколько хижин, оставил Скитальца отдохнуть под деревом и побежал за подмогой. Была ночь, я стучался во все дома, но никто не хотел выйти ко мне, а некоторые даже спустили на меня собак. Я был обессилен, но ждать до утра нельзя было. Тогда я прокрался в конюшню и украл у них коня, жалкую клячу, сопротивлявшуюся и наделавшую столько шума, что чуть ли не вся деревня кинулась за мной в погоню. То я не мог добудиться их, а тут они за мной помчались с топорами и дубинами. Но я ускакал от них обратно в лес. Я планировал посадить бедного Скитальца на лошадь и вывезти его из леса окольной дорогой, незаметно для жителей деревни. Но я опоздал. Когда я вернулся, Скиталец был мертв, и мои слезы не могли вернуть его. Я просидел вместе с ним под деревом до утра. Его голова лежала на моих коленях и временами мне казалось, что он просто спит. Я плакал и молил Смерть взять мою жизнь тоже, ибо жизнь сына ничтожна без жизни отца. Я надеялся, что начнется снегопад и заметет снегом нас обоих. Но снегопад не наступал. Утром я выкопал под деревом яму, изрезав промерзшей землей в кровь руки, положил в нее Скитальца и забросал яму сухими ветками. Мне было некуда идти, но такова уж человеческая натура, что, даже когда тебе некуда идти, ты все равно идешь куда-то. Я шел, куда меня вели ноги, целиком поглощенный мыслями, а за мной шла лошадь и плелся длинношей Скептик, которого я вначале и не заметил. Я ничего не видел, кроме своего горя. Но меня видели другие. Крестьяне, у которых я взял лошадь, так и не пригодившуюся мне, подстерегли меня и набросились с дубинками, кочергами и всем, что было под рукой. Вначале я даже не оказывал сопротивления, но мне пришла в голову мысль, что если бы они сразу согласились помочь мне и пошли бы со мной в лес, то драгоценное время не было бы потеряно и, возможно, Скиталец был бы сейчас жив; то есть, что они тоже, косвенно, виновны в смерти Скитальца. Это придало мне силы, и я сражался как лев,

вкладывая всю боль отчаянья в тумачи и затрещины. Но их было много, они были вооружены, и им удалось одолеть меня. Целый день провалялся я, окровавленный и связанный, пока они безобразной попойкой праздновали свою победу. Ночью же ко мне тайком пробралась какая-то добрая женщина, развязала веревки, накормила меня молоком и хлебом и указала путь к Концу Света, куда я и отправился, пока эти мерзавцы храпели после попойки. А остальное ты знаешь.

Разлука: – Да, как ты стал вламываться в дверь, проклиная бедного Мудрого Отшельника на чем свет стоит, а вместе с ним и весь род людской.

Маугли (тихо): – Но ведь он обманул меня.

Разлука: – С чего это ты взял, что Мудрый Отшельник стал бы тратить свое драгоценное время на обман?

Маугли: – Мудрый Отшельник сказал, что я смогу превратиться в человека, когда найду любовь. Вот я и отправился странствовать в поисках любви. Но я не нашел любви нигде. Все, что я видел, было ложью, обманом, пылью, самозаблуждением, всем, чем угодно, но не любовью.

Разлука: – Глупый, глупый мальчик. В человека-то ты превратился, да все равно ничему не научился.

Маугли: – Как же я мог превратиться в человека, если так и не нашел любви?

Разлука: – Нашел, да не узнал. Видел, да не понял.

Маугли (саркастично): – Что же, просвети меня, Разлука.

Разлука: – На то я и Разлука, чтобы дарить людям время на размышление и осознание. В жизни, как правило, намного больше событий, чем времени на их осмысление.

Маугли: – И где, по-твоему, нашел я любовь?

Разлука: – Везде, мой мальчик. Любовь – она везде. Нужно лишь уметь видеть.

Маугли: – Но что же такое любовь?

Разлука: – Любовь узнает лишь любящий. Скажи, тебе не приходилось сопереживать другому человеку в его радостях и невзгодах?

Маугли: – Приходилось. Скитальцу.

Разлука: – А ведь знание, оплодотворенное сопереживанием, и есть любовь.

Маугли: – Знание и сопереживание? И все-то?

Разлука: – А это не легко. Если ты по-настоящему знаешь человека на уровне сопереживания ему, то ты не можешь его не любить. Если ты что-то кому-то не можешь простить, независимо от его проступка, вплоть до самых ужасных, то это лишь указывает на то, что в тебе недостаточно любви, то есть ты не знаешь этого человека на уровне сопереживания, иначе давным-давно простил бы его.

Маугли: – Но ведь любовь должна быть разная. Любовь матери к ребенку отличается от любви мужчины к женщине.

Разлука: – Лишь в форме, но не в основе. В основе основ, а именно, без этого знания сопереживания ни материнская, ни супружеская любовь не возможны. И возникают всяческие иллюзии и подмены чувства.

Маугли: – Но я так много путешествовал, как же я не нашел любви?

Разлука: – Ты искал глазами, а не сердцем. Ты не понял ни одного из встреченных тебе людей, а если кого и понял умом, то не обогрел сердцем. И люди остались для тебя парадом масок, оборотней, призраков, не способных быть раскрытыми твоему сердцу. Но одного ты раскрыл, и он стал тебе отцом.

Маугли: – О, лучше бы он им не стал. В моем сердце сейчас, после его смерти, такая боль и пустота...

Разлука: – Это цена любви. Любовь обручена с болью. Сквозь страданье ты и стал человеком. А смерть ты к себе не зови, это грешно.

Маугли: – А у меня будет еще в жизни любовь?

Разлука: – Я же тебе говорю, любовь – везде и во всем. Надо лишь уметь быть открытым к пониманию, сопереживанию и не бояться боли разлуки.

Маугли приподнимает голову и внимательно смотрит на морщинистую Разлуку. Его взгляд теплеет. Разлука улыбается.

Маугли: – Спасибо на добром слове.

Разлука: – Видишь, выклянчила у тебя благодарность все-таки, – смеется, но сразу снова становится серьезной. – А теперь, мальчик, я помогу тебе перенестись туда, где тебе нужно быть.

Разлука встает с кресла и приносит с печки чашку с горячим травяным настоем. Перед тем, как передать чашку Маугли, Разлука долго шепчет над ней заклинания. Маугли с любопытством наблюдает за ее действиями.

Разлука: – Ну вот, вроде бы и готово.

Маугли: – А что это?

Разлука: – Лекарство от разочарования. Ты в нем весьма нуждаешься, а то еще немножко, и тебя Скептик задушит за компанию.

Маугли: – А как оно действует?

Разлука: – Увидишь. Держи, – Разлука протягивает ему чашку.

Маугли (нюхает): – Пахнет хорошо.

Разлука: – Еще бы. Кто готовил-то?

Маугли (задумчиво): – Пахнет, как в райском саду. Сладкой, дурманящей песней растений. Первых растений. Вечных растений.

Разлука (монотонным голосом): – А теперь закрой глаза, мой мальчик (Маугли закрывает глаза), и представь себе любовь. Твою любовь. Главное – без тени сомнений. Твою любовь (на губах Маугли появляется улыбка). Представил? А теперь пей, мой мальчик. До дна, ни капли не пролей.

Маугли медленными глотками пьет содержимое кружки. В старинном зеркале на стене отражаются огоньки каминного пламени и чуть шевелятся тени, отбрасываемые причудливыми химерами, сидящими на спинке кресла-качалки в маленькой избушке на Краю Света.

Постлюдия № 18 фа минор • Мелодия утрат

Я помню свое первое ощущение утраты.

Мне около года. Я стою возле двери в спальню, двумя руками держась за дверной косяк и смотрю снизу вверх на мою младенческую коляску. Мама говорит:

– Попрощайся со своей коляской, Лерочка, сегодня ты ее видишь в последний раз.

Слова «последний раз» настолько поражают мое воображение, что я навсегда запоминаю красную коляску, мой взгляд на нее снизу вверх и осознание безнадежности ее утраты.

– Не горюй. У нас же остается кукольная коляска.

В целях экономии, чтобы не приобретать стандартную детскую коляску, мои родители долгое время возили меня в коляске от большой куклы, умеющей, когда ее наклоняли, произносить «мама» и закрывать глаза с длинными черными ресницами.

То же ощущение утраты я помню, когда исчезла моя детская кроватка, а вместо нее родители купили мне кресло-кровать. После первой ночи на новой кровати я захотела обратно, но обратного пути не было, моя детская кроватка была навсегда поглощена Временем, и его ненасытная пасть ждала все новых и новых жертвований.

Ни коляска, ни кроватка не ценились мной во времена обладания ими, они воспринимались, как нечто должное. Более того, весть о перемене, о планируемой покупке кресла-кроватьи была принята мной с радостью и нетерпением – это было некое возвышение в ранге, приближение к заманчивой свободе взрослого мира.

Момент перелома наступал в момент потери. Так ненавистный мне детсадик я оценила, уже будучи в школе, и каждый предыдущий класс казался мне лучше последующего. Тогда-то мне и пришла печальная мысль о свойстве Времени со временем сжиматься в количестве и портиться в качестве.

Постлюдия № 17 ля-бемоль мажор • Свойство Времени

Безраздельное время младенчества стало распадаться на клочки и обрывки, в которые удавалось втиснуть все меньшее количество дел. Не потому ли мы ценим детство, что оно кануло навеки, отделено Разлукой и именно поэтому невыразимо притягательно для нашего неблагодарного разума? И возможно ли, что это издерганное и разорванное на клочки Сегодня когда-нибудь будет для нас так же окутано сладостью недостижимого?

Да и кто может сказать, что оно, настоящее? Сколько оно длится? День? Мгновенье? Долю секунды? Обладает ли оно вообще временным пространством, или же оно переходит в будущее и, следовательно, в прошлое быстрее, чем мы можем не только осознать его неповторимость, но и просто осознать его присутствие?

Но если настоящего не существует, если оно лишь точка на пересечении будущего и прошлого, то нельзя ли утверждать и обратное, а именно, что будущего и прошлого не существует, а есть лишь настоящее время, в котором слиты будущее и прошлое?

В связи с этим ранним наблюдением над свойством Времени со временем уменьшаться и портиться, мне пришла такая мысль – не лучше ли было бы смотреть на сегодня завтрашними глазами? То есть жить не в одном направлении, от вчера – к завтра, но одновременно двумя; от прошлого – к будущему и от будущего – к прошлому. Так, учась в первом классе, уже обладать знаниями второго, а спя в детской кроватке – знать о взрослой и относиться к своему возрасту не глазами прошлого, полными ужаса от еще одной прибавленной цифры, но глазами будущего, знающими еще более ужасные цифры – то есть осознавая разницу между словами еще и уже.

Отсюда и возникли мои диалоги с самой собой, в коих понятие возраста стиралось, и где ребенок, движущийся к старости, и старик, движущийся к детству, пересекались в некой точке. И Время, Время в такие моменты больше не рвалось –

оно выростало гигантской волной, как разделенное Моисеем море; вставало стеной океана, без конца и края, вбирая в себя и бесконечное прошлое, когда меня еще не было (во всяком случае, когда не было меня в данной моей ипостаси) и беспредельное будущее. В момент этого объединения еще и уже, будущее становилось прошлым и открывало узенькую тропинку, по которой я шла с ужасом, ибо в любой момент это слившееся с прошлым будущее могло обрушиться и раздавить меня, унеся в открытый океан, но так же и с восхищением, ибо это и было сотворением несуществующего настоящего мгновения, открывающего всё новые бездны и обогащающего память.

Но и за это приходилось платить моей неписываемостью ни в мир взрослых, ни в мир детей. В любом из этих, да и других, миров я была странником, и коренные жители, («настоящие» дети и взрослые), всегда чувствовали во мне чужака и инстинктивно отталкивали меня. Но привычка смотреть на сегодня глазами будущего имела и другие последствия. Особенность ценить настоящее именно из-за его обреченной утраченности, обволакивала каждое счастливое мгновение ностальгией.

Что такое ностальгия? Тоска по прошлому, когда мы были молоды или счастливы, (или и то и другое)? Само воспоминание не так важно, важно направление во времени. Может ли быть ностальгия по будущему? Или настоящему? Могут быть надежды или мечтания, но само слово «ностальгия» означает стремление вернуться, то есть направление к прошлому. У меня же, даже к самому счастливому моменту примешивалась горечь свершающейся потери. Чем совершеннее было настоящее, тем меньше я была способна им насладиться, ибо наслаждение требует отдаться моменту, а момент этот, еще не настав, был уже для меня потерян, будучи спасенным лишь памятью. Настоящее для меня оказывалось в прошлом, что позволяло мне вовремя его оценить, но также добавляло к его восприятию ностальгическую грусть из будущего.

Не потому ли столь притягательно для человека искусство письма? Писатель пишет не столько для того, чтобы запечатлеть прошлое или настоящее, сколько, чтобы фиксировать будущее. И в каждой написанной фразе отражаются, прежде всего, глаза ее читателей, то есть неминуемо глаза будущего, и это пересечение времен в записях черного на белом – одна из величайших тайн, побуждающая взять чернила и перо (авторучку, печатающую машинку, компьютер... нет, все-таки чернила и перо лучше) – и писать.

Постлюдия № 16 си-бемоль минор • Историческое прошлое

Долгое время я росла в полной, или почти полной политико-историко-географической безграмотности. Для меня историческое прошлое выглядело примерно так: в начале были древнегреческие мифы и библейские рассказы. Саму Библию я впервые увидела лишь в тринадцать лет (во времена моего детства Библия считалась запрещенной книгой), но Библейские рассказы, вернее, пересказы, изложенные в форме сказок для детей, были весьма популярны; древнегреческие же мифы и легенды я прекрасно знала и любила с самого раннего возраста, и были они для меня более современны, чем исторические события моего времени. Из этих мифов почувствовала я хрупкость мира богов и их зависимость от человека. Поэтому на первый политический вопрос в начальных классах школы, формулировавшийся примерно так: «В чем главная заслуга революции большевиков?» – я не задумываясь ответила, – «В том, что они свергнули Бога и убили царя».* Ответ мой был признан по существу правильным, хотя и не точно выраженным.

Мне же это вовсе не казалось таким уж странным: в Древней Греции люди свергали богов, боги – людей; детоубийство было популярным занятием, если вспомнить Крона,* пожирающего собственных детей. Для меня Зевс, свергнувший своего отца и возглавивший новое царство с целым сводом подчиняющихся ему

богов, соединялся с Иисусом Христом, свергнувшим (хоть он и утверждал обратное) царство своего отца – древнего Бога Ветхого Завета, и создавшего собственное божественное окружение с учениками-апостолами и сонмом монахинь. Людобоги и боголюди населяли прошлое, и мир этот был полон кровосмесительной интимности и ревности.

Но уже тогда я чувствовала, что за этим миром, как за кулисой, находится настоящий Бог, вездесущий и невидимый, включивший машину времени и создавший все миры. И вот идею этого Бога свергли большевики. И Бог ушел в подполье. Вернее, сам Бог никуда не ушел, так как с самого начала на пьедестале религий были другие боги. Но большевики разбили и пьедесталы, и идолов и начали новую без-божную историю, что само по себе не ново, ибо во всех мифах время от времени приходит кто-то, разрушающий старый мир и утверждающий новый мир, и сама эта идея стара, как старое колесо жизни, где то, что было верхом, становится низом, и наоборот.

После древнего мира, Спарты и олимпийцев, как мне представлялось, был восемнадцатый век, обладающий дурным вкусом, интригами и всевозможными дурацкими золотыми вензелями; после чего был девятнадцатый век, в котором Время не двигалось, а лениво топталось на месте и почему-то при словах «девятнадцатый век» я представляла картину Клода Моне «Дама в саду»,* которая часто изображалась на почтовых открытках и на которой некая дама с зонтиком спокойно прогуливается по аллеям парка. Картину эту я не любила, и XIX век в моем сознании бесцельно прогуливался по аллеям Времени, в то время как само Время сжималось, углублялось, морщинилось, портилось и копило в себе напряжение и злость.

Потом пришел XX век с революцией, когда большевики свергли бога и царя и поставили править Ленина, и все накопившееся в бездействии напряжение Времени лопнуло в виде атомной бомбы, и Время понеслось стремглав, ломая все на своем пути, к некой, нам не ведомой, цели, или же просто бесцельно паникуя. Ленин был богочеловеком и вездесущим идолом – его

глаза смотрели с каждой школьной стены, с плакатов, с домов. У него были усы, борода и хитрые лукавые морщинки около глаз.

Постлюдия № 15 ре-бемоль мажор • Херувим

Когда мне исполнилось семь лет, меня приняли в октябрята и дали звездочку с портретом маленького Ленина, кучерявого херувимчика, за всю свою жизнь сказавшего всего лишь одну ложь, а именно: когда ему было пять лет, маленький Ленин, (который в ту пору еще не знал, что когда-нибудь будет называться Лениным, а был всего лишь Володенькой Ульяновым), гостил у своей бабушки и играл с детьми, (которые в будущем погибли героями за правое дело революции, но в ту пору об этом тоже не догадывались, иначе, возможно, они не стали бы играть с маленьким Лениным, называвшимся тогда Володенькой Ульяновым.)

Так вот, играя с детьми, маленький Ленин случайно разбил вазу. Когда бабушка увидела разбитую вазу, она устроила допрос и спросила, кто это сделал. И каждый из присутствующих детей говорил: «Не я». И когда очередь дошла до маленького Ленина, он тоже сказал: «Не я». И пришлось бабушке вынести суровый приговор и наказать всех детей, оставив их без сладкого. А ночью маленького Ленина стала мучать совесть, что на вопрос: «Кто это сделал?» он сказал: «Не я». Совесть его так замучила, что он пообещал себе никогда и никому больше не врать, а всегда говорить только правду.

И он пришел к бабушке и, заплакав, признался ей, что это он разбил вазу и испугался, когда она спросила: «Кто это сделал?», и ответил: «Не я», что было ложью, а сейчас его мучает совесть, и он обещает, что никогда не будет больше врать. Бабушка похвалила его за то, что он пришел признаться и угостила куском торга.

С тех пор и до самой смерти Ленин никогда не врал. И он является единственным человеком на земле, который за всю жизнь

соврал лишь один-единственный раз, да и то в таком юном возрасте, что это почти не считается.

– Есть вопросы? – спросила учительница, рассказав эту трогательную историю, завершавшую наш официальный прием в октябрята.

– Да, а откуда вы это знаете? – спросила я.

– Знаю что? – не поняла учительница.

– Откуда это известно, что он никогда не врал? – спросила я.

Меня это действительно очень заинтересовало.

– Это общеизвестный факт, – ответила учительница.

– Но, как правило, когда я обманываю, то никто об этом не знает, кроме меня самой. Возможно, что Ленин тоже обманывал, но этого никто не знает.

– Ну, знаешь ли, не все такие испорченные, как ты! – возмутилась учительница. – Вопросы окончены.

Но тем не менее в душу мою закралось сомнение. Ведь в самом деле, кто мог бы с уверенностью сказать, обманывал Ленин или нет, кроме самого Ленина? И даже если и сам Ленин сказал, что он обманул всего лишь один-единственный раз в возрасте пяти лет, быть может, он просто забыл, или же то, что он это сказал, было ложью.

Кроме того, ведь так часто бывает, что обман становится правдой, а правда – обманом. Например, я слышала, как мама говорила по телефону, что болеет и из-за болезни не может быть на каком-то общественном собрании, в то время как была совершенно здорова. Но соврав, что больна, она и в самом деле вскоре плохо себя почувствовала и уже к вечеру была действительно больной. Так были ее слова ложью или правдой; или ложью, оказавшейся со временем правдой; или правдой, бывшей во время произношения ложью?

Поэтому категоричность утверждения, что Ленин никогда не врал, показалась мне весьма сомнительной. Человеческая жизнь – слишком длинный срок для подобного утверждения.

Постлюдия № 14 ре-диез минор • Семья Ленина

Вездесущий Ленин всю жизнь был так предан делу революции, что у него не было никакой личной жизни – он отдавал себя целиком строительству нового счастливого общества. Поэтому у Ленина не было жены или детей. Но у него была подруга, женщина, помогающая ему нести священное дело революционной заботы.

С этой подругой не все было понятно. Звали ее Надеждой Крупской. Она была Ленину сестрой, подругой, женой, товарищем и матерью, так как у Ленина не было других родителей, кроме самого революционного времени. То есть была ли Крупская его женой, на которую он смотрел исключительно, как на сестру, или же, наоборот, было не очень понятно, но это было несущественно, ибо многие людобогои прошлого тоже не всегда обладали точным представлением о родственных отношениях и смешивали понятия семьи и карьеры.

У Ленина было два старших брата – Маркс и Энгельс. Их портреты часто висели рядом с портретом Ленина. Маркс и Энгельс были старше и умели рассуждать, но не умели действовать. Вернее, революционное время, породившее Ленина, тогда еще не дозрело. Ленин же умел действовать и сделал Революцию, а потом научился рассуждать и написал многотомное собрание своих сочинений, объясняющих то, что он сделал.

У Ленина так же было два младших брата, Сталин и Брежнев. Когда Ленин умер, стал править Сталин, а когда Сталин умер – стал править Брежнев. У Сталина, как и у Ленина, были усы, но у Ленина также была бородка, а у Сталина бородки не было. Зато усы у Сталина были черными и густыми, а не рыжими, как у Ленина; а у Брежнева не было ни усов, ни бороды, но зато у него были брови, напоминающие сталинские усы, как если бы усы Сталина переместились на лоб Брежнева.

Сталин трудов не писал, но говорил указания и лозунги, которые цитировались во всех газетах и журналах, а также на плакатах. Брежнев тоже ничего не писал, да и говорил он не очень и был так стар, что когда ему приходилось говорить, вернее читать вслух, это занимало у него очень долгое время, так как читал он тоже с трудом, и когда он добирался до конца фразы, начало было давно потеряно в дебрях слов. Брежнев начал править задолго до моего рождения, и мое детство прошло под аккомпанемент его бесконечных речей, нескончаемым потоком льющихся с экрана телевизора, с центральных газетных полос и из радиоприемника.

Быть может, благодаря этим речам у меня с детства выработалось отторжение и блокировка внешнего мира, ибо в мир никогда не вравшего Ленина, говорящего языком голой правды, не вписывался мой собственный мир, полный порочных сомнений, и уже совсем не вписывался мир моей семьи с ее разделением на «чужих» и «своих» и со знанием, что ничего «такого» нельзя говорить по телефону и всяческими неприятностями, о которых вообще нельзя никому говорить.

Мир по другую сторону этой стены брежневских речей, то есть мир школы, газет, общества был так притягателен – в нем все было понятно и стройно – все, за исключением моего порочного, полного сомнения «я».

Постлюдия № 13 фа-диез мажор • Клеймо

Приблизительно в то же время, лет в семь, я узнала, что я еврейка. Я хорошо помню, как это случилось. Мама читала мне вслух книжку. Я не помню, как она называлась, но речь в ней шла о жизни бездомного мальчика, участвовавшего в цирковой труппе и о всяческих его приключениях. В том числе этот мальчик какое-то время работал поводырем слепого, который позже ока-

зался вовсе не слепым, а притворяющимся мошенником, но пока мальчик этого не знал, он должен был водить этого мнимого слепого за руку и объяснять ему все, что происходит вокруг. И вот один раз они проходили мимо синагоги, из которой в тот момент выходили религиозные евреи с пейсами и кипами.

Когда мама прочла описание евреев, я засмеялась. Мама спросила о причине моего смеха. Я замялась: «Ну... смешные они просто».

– Кто? – спросила мама.

– Да евреи эти, – ответила я.

Мама отложила книгу в сторону:

– А ты знаешь, что ты тоже еврейка?

– Что? – это было для меня шоком.

До этого родители говорили мне, что я русская, и я была совершенно не готова к подобной подмене.

– Ты тоже еврейка. Как я и папа. Это наша национальность.

– Это неправда!

– Нет, правда.

– Вы мне всегда говорили, что я русская!

– Это потому, что ты была маленькая, и мы боялись, что ты не поймешь и боялись, что другие дети будут тебя обижать, если ты им скажешь, что ты еврейка.

– Это неправда, неправда!

– Нет, это так.

– Я не хочу, не хочу быть еврейкой! – в голосе моем звенели слезы.

– Глупышка, это же хорошо, это же прекрасно, – мама была явно растеряна, и голос ее звучал не слишком уверенно.

– Ну вот, вы и будьте евреями, а я буду русской.

– Это невозможно, это от тебя не зависит. Это национальность, как русские, украинцы или поляки, с этим рождаются, а не выбирают.

– Не хочу!

- Хочешь, не хочешь, а так оно и есть.
 - А Аличка – еврейка?
 - Да.
 - А дед Исаак?
 - И дед Исаак.
 - А Игорь?
 - Конечно. Мы все, вся наша семья – евреи. Я же тебе говорю, это национальность, указанная в наших паспортах. Мы не можем выбирать национальность, с ней рождаются. И у тебя, когда подрастёшь, будет паспорт, в котором будет написано, что ты еврейка.
 - Зачем же вы меня обманывали?
 - Я же тебе объяснила, я боялась, что другие дети будут тебя обижать, если ты им скажешь, что ты еврейка.
 - А сейчас больше не боишься?
 - Боюсь, но ведь когда-то ты должна была это узнать. И если тебя будут спрашивать в школе, кто ты, отвечай, что не знаешь, или говори, что русская.
 - Я не хочу врать.
 - Ну хорошо, – мама неожиданно согласилась. – Я же просто хочу предохранить тебя.
 - А почему все обижают евреев?
 - Так уж повелось в России.
 - Все считают, что евреям быть плохо.
 - Вовсе не плохо, а наоборот очень даже прекрасно, просто многие этого не понимают.
 - А я тебе докажу, что я не еврейка и Игорь не еврей.
 - Как ты это можешь доказать?
 - Я спрошу у Игоря, он русский или еврей и как он скажет, так и будет.
 - Ну хорошо, иди спроси.
- В предложении спросить Игоря было скрыто коварство, так как совсем недавно Игорь, будучи на десять лет старше меня

и уже многое вынеся из-за антисемитизма, подробно проинструктировал меня, что, если другие дети будут спрашивать о моей национальности, мне следует отвечать им, что я русская. Я иду в соседнюю комнату, где за большим папиным столом занимается мой брат.

– Ига, скажи, я русская?

– Угу, – отвечает Игорь, не отрываясь от своих бумаг.

– А ты русский? – Игорь поворачивается в мою сторону на кресле-вертушке и внимательно смотрит на меня.

– А почему ты спрашиваешь?

– Потому что мамочка говорит, что мы евреи.

Игорь стремглав бросается в спальню.

– Мамочка, ну зачем ты? Мы же договаривались... – Игорь откровенно взволнован.

– Я должна была, Игореша. Рано или поздно она все равно бы узнала.

Я затыкаю уши и мотаю головой.

– Первое слово дороже второго! Первое слово Игоря было, что я русская, вот вы и будьте себе евреями, а я буду русской.

– Вот видишь! – укоризненно говорит Игорь маме.

Но это оглушающее открытие уже опускается облаком на меня. Это конец всего ясного, определенного, конец любой попытки быть «такой, как все», это что-то непонятное, клеймо избранничества, тайна, некий древний договор, за который я в ответе.

Через несколько лет в наш город на гастроли приехал еврейский театр «Шалом», исполняющий еврейскую музыку. Этот концерт навсегда врезался в мою память ослепляющей вспышкой, когда, не зная слов песен (большинство пелось на идише, а у нас в семье на идише говорил только дед Исаак), я пыталась подпевать и чувствовала, что это все уже было, что эти песни живут во мне, и что я – часть этого древнего прекрасного народа, подарившего миру столько музыкантов и мудрецов.

Возможно, что приезд этого театра и стал моим внутренним примирением с прошлым, которое оказалось настоящим, и с древними легендами, которые вдруг облеклись в реальность и которые мне предстояло переосмыслить в свете внутренней сопричастности.

ЧАСТЬ VII • НА ПУТИ ОБРАТНО

Трио Ор. 2а

III. Ловушка для фавнят

II. Жизнь продолжается

I. Обертонь рая

III. Ловушка для фавнят

Адам: – Птицы и ветви, ветви и птицы... В воспоминаниях о будущем птицы и ветви фигурируют чуть ли не в каждой истории. Разве не с плодотворной ветви дерева предстоит сорвать тебе, Ева, запретный плод; разве не голубь, выпущенный с Ноева ковчега, укажет нашим детям путь?

Адам сидит на толстой ветви дерева, под которой длиннорослая Ева сооружает ловушку для маленьких фавнят. Ей хочется приручить одного из этих пугливых существ, умеющих делать превосходные дудочки из тростника.

Впрочем, все ее попытки ловли фавнят обычно ничем не заканчиваются, за ними строго наблюдает козлоногий бог Пан и не позволяет фавнятам приближаться к человеческой паре.

Ева: – Разве не ветвями и птичьими перьями надлежит нам укрыть наши тела, чтобы не предстать пред Ним нагими?

Адам: – Кстати, мне всегда было неясно, почему нам нужно будет закрывать тела и прятаться от Того, кто нас сотворил нагими и, следовательно, знает, как мы выглядим?

Адам лукаво улыбается.

Ева (отвечает машинально, целиком поглощенная сооружением ловушки): – Это повелит нам сделать чувство стыда.

Адам: – Допустим, но какой же смысл прятаться от всеведущего и таиться от всеведущего? Какой смысл в Его расспросах, если Он сам все уже знает и, более того, – на все воля Его?

Ева: – Это входит в правила игры.

Адам: – Ну хорошо, объясни мне, всезнайка, о каком понятии добра и зла может идти речь в только что созданном совершенном мире, где зла просто нет; если мы, естественно, берем за данное, что в самом Всевышнем зла не может быть, и что Он – абсолютное Добро?

Ева: – Ты прав, милый, зла действительно в Нем и сотворенном Им мире быть не может.

Адам: – Значит все это враки про добро и зло.

Ева: – Что ж, Он этого никогда и не отрицал, ибо Он запретил тебе (меня, кстати, еще не было на свете, так что запрет был наложен лишь на тебя) вкушать сей фрукт под предлогом, якобы, смерти, а вовсе не познания.

Адам: – Но если лгать грешно, то как же Он мог нам солгать? Ведь если Он способен на грех (а ложь, бесспорно, не является добродетелью), то значит понятие зла существует в Нем, а это неприемлемая мысль.

Ева: – Что ж, отсюда выходит, что Он сказал правду, вернее не правду, а истину, ибо правда, в зависимости от обстоятельств, может оказаться ложью, а истина остается истиной.

Адам: – Значит, по-твоему, съев яблоко, мы умрем, хотя Книга уверяет совершенно обратное, что подтвердится нашим многочисленным потомством?

Ева садится на землю, прислонившись спиной к дереву, на котором сидит Адам. Тон беседы, хоть и продолжает быть шутивным, но в нем уже скользят серьезные, даже мечтательные нотки.

Ева: – Конечно, милый, съев запретный плод, мы в определенном смысле умерли, ибо наша сущность, а соответственно и бытие мира, изменились. Проявив собственную волю, мы отделили себя от Творца и от созданного Им мира; вернее не отделили, а обособили. Даже не обособили, а разъединили. Духовное и физическое перестали быть одним и тем же. Духовное, через акт проявления нашей свободы выбора (чем и является запретный плод), распалось на духовное и физическое – душа и

тело разделились. И началась история рода человеческого – с грехопадения, с чувства стыда и вины, по которому люди, как по маяку, могут ориентироваться в направлении к райскому саду.

Адам: – Но ведь это все входило в Божий план.

Ева: – Естественно, что входило. Без вкушения запретного плода не было бы истории людей. Чем бы Бог занимался, чем бы Он развлекался в совершенном мире, в конце концов, как бы Он познал Самого Себя? Ведь свету, чтобы познать собственную природу необходим контраст. А поскольку Всевышний, безусловно, не мог выдумать идею зла, которого не существует в Нем, Ему нужен был Человек, создание, которое, как и Он, обладало бы возможностью создавать и выбирать и этим бы отличалось от всех других созданий. Вот Он и создал нас, но так как нам тоже хотелось проявлять свою божественную способность творить, нам необходима была физическая материя, как скульптору необходима глина. Вот и пришлось спуститься в физический мир – в эти дебри добра и зла и прочих сомнительных понятий; вот и пришлось создать машину времени и прочие ограничения беспредельности; правила игры, за которые в рамках физической жизни до возвращения в Беспредельность, человеку не дано уходить.

Адам: – А зачем Господь поставит у входа в Эдем ангела с разящим мечом?

Ева: – Чтобы не вкусили мы от древа жизни и не стали бессмертными в рамках физического мира, то есть, чтобы эта игра вдруг не стала реальностью. Смерть физического тела – это возможность души вернуться домой – в обетованный рай, где она не обладает физической формой и является цельной и нераздельной. Смерть – это прежде всего возможность нового рождения, когда душе дается новая попытка выбора и познания. Если человек по глупости отведаст плод бессмертия и нарушит правила игры, то жизнь его станет смертью, и он будет отнюдь не бессмертным (как и мы не стали умнее от яблока познания), а наоборот – всемертным, ибо сама жизнь его будет смертью.

Адам: – А тебе не приходила мысль, что может быть нам не следует есть запретный плод познания?

Ева: – Конечно приходила.

Адам: – И что же? Разве стоит игра свеч?

Ева: – Нашим падением мы реализуем замысел Творца, Его возможность самоутверждения и самоосмысления.

Адам: – Ну да. Так испытываешь радость достижения на вершине горы, только после тяжелого изнуряющего подъема.

Ева: – Правильно. Так душа может осмыслить истинное понятие о Добре – и добре (зло – это видоизмененное добро), только прожив много жизней, сквозь страдания и невзгоды, а вовсе не в сладком яблочке, чтобы ни твердил там Змий.

Адам: – Змий говорит, что для познания себя человек создаст машину, имитирующую человеческий мозг.

Ева: – Каждый создает по своему образу и подобию.

Адам: – Змий говорит, что лишь утратив Рай, мы его сможем по-настоящему оценить.

Ева: – История каждого человека и всего человечества – это поиск дороги домой, домой – к Эдему, к истоку истоков.

Адам: – Так ты думаешь, что история человечества – это путь обратно? И дорога приведет домой?

Ева: – Знать все наперед скучно, мой милый, да и невозможно. Куда интересней сам процесс: наблюдать и с волнением следить за событиями и страстями человеческими... Как ты думаешь, попадет ли фавненок в мою ловушку?

В ответ из зарослей раздается песенка свирелей и тихий смех маленьких фавнят. Адам улыбается. Ева строит досадливую гримаску и бросается к зарослям.

Ева: – Ух, берегитесь!

Фавнята, визжа, разбегаются в разные стороны. Ева смеется. Поднимает с земли три опавших листка и пытается придержать их на груди и внизу живота.

Ева (кокетливо): – ну, как, по-твоему, я буду выглядеть в таком одеянии?

Адам (спрыгивает с дерева и, подойдя, целует Еву шепча ей на ухо): – Боюсь этот наряд еще долго не войдет в моду. У нас же впереди целая вечность...

II. Жизнь продолжается

Я держу на коленях бумажную, сложенную в несколько раз салфетку и вырезаю ножницами на сгибах причудливые фигурки, стараясь представить, как это все будет выглядеть, когда я закончу и разверну салфетку. Аличка, с трудом передвигаясь на искривленных больших ногах, готовит на кухне обед.

Звонит телефон.

– Аличка, телефон! – кричу я.

Аличка медленно идет в спальню и поднимает трубку. Я кончаю делать дырки в салфетке и разворачиваю ее на коленях. Это просто произведение искусства!

Аличка кладет телефонную трубку и обращается к читающему газету деду Аарону:

– Умерла наша соседка Рая.

При этих словах совершенно неожиданное чувство вины вдруг переполняет меня. Мои глаза наполняются слезами от безысходности положения и от того, что ничего не исправить. Это чувство виновности перед умершей ошеломляет меня; тётю Раю я почти не знала и говорила с ней, быть может, всего пару раз в жизни, неохотно отвечая на стандартные стариковские вопросы, задаваемые во дворе маленьким детям. И вот эти два-три случайных столкновения, во время которых я смотрела на надоедливую старушку, как на что-то мешающее мне спокойно строить замки в песочнице или лазить на деревья за ранетками, стали благодатной почвой, на которой разрослось ветвистое дерево моей вины.

И главное, ничего нельзя исправить! Я смотрю на свои руки, в которых по-прежнему держу только что вырезанную сал-

фетку, вдруг разрываю эту салфетку на мелкие клочки и выбегаю из комнаты.

– Не надо было при ребенке говорить, – слышу за спиной укоризненный голос деда Аарона.

Позже, успокаивающе глядя меня пухлыми руками, Аличка говорит мне что-то о скоротечности бытия и закономерности смерти и что ничего страшного в этом нет, а я, обнимая ее и уткнувшись головой в ее мягкий живот, думаю о том, что она не верит собственным словам. Мои локти влажны от ее слез, которые она пытается от меня скрыть, и говорит она что-то утешительное, но ложное, как всегда, когда взрослые уверяют, что доктор не сделает тебе больно, а доктор всегда делает очень даже больно, особенно если приходится выдирать больной зуб или брать кровь.

И что же я буду делать, когда Аличка умрет, или Марианна, или мама? Я покончу жизнь самоубийством от горя, решаю я, и тут же стараюсь придумать способ, как это сделать. Прихожу к выводу, что лучше всего спрыгнуть с балкона – самый безболезненный способ. Спрыгнул и все. И тут мне становится жаль и себя, и Аличку, и умершую тётю Раю и всех моих родных, потому что они тоже умрут, и всех родных тётки Раи, которые сейчас плачут от горя, и вообще всех людей, потому что кто-нибудь да умирает каждую минуту и оставляет в одиночестве своих родных. Зачем вообще рождаться, если все равно умрешь?!

Аличка беспомощно пытается меня утешить. Приходит, чтобы увести меня домой, Марианна и, выяснив причину слез, говорит мне:

– На все воля Божья. Человек никогда не одинок. Бог дал – Бог взял.

– Тебе хорошо, твой Бог всегда с тобой, а вот у родственников тётки Раи, может, нет Бога, им-то как?

– Бог всегда с человеком, даже если тот в него и не верит.

– Если твой Бог такой хороший, почему же он забирает любимых людей и причиняет столько боли?

– Бог человеку никогда не посылает больше испытаний, чем он способен вынести.

Спускаясь с третьего этажа, на котором была расположена Аличкина квартира, мы сталкиваемся с двумя взрослыми сыновьями умершей тёти Раи. Они – о ужас! – улыбаются нам в знак приветствия. Как могут люди улыбаться в такой ситуации, как могут что-то говорить, куда-то ходить, как они смеют продолжать беспечно жить? Марианна говорит им слова соболезнования. Один из них, заметив футляр со скрипкой в моей руке, замечает: «А я и не знал, что ты теперь и на скрипке играешь». Я в ужасе каменею. Это же святотатство – как он может, как он смеет что-либо замечать и осознавать, кроме кончины тёти Раи? Ведь ничего, ни-че-го теперь нельзя исправить. Ведь я теперь навеки виновна перед ней своей невнимательностью и пренебрежительным отношением. Я тяну Марианну за руку, дальше от этого подъезда, от двора – свидетеля моего преступного отношения к умершей, от этих страшных улыбающихся двух мужчин, способных продолжать жить в то время, когда уже ничего нельзя изменить.

А ведь совсем скоро мне предстоит потерять одного за другим и Аличку, и деда Исаака, и деда Аарона, и Марианну, и я не кончу жизнь самоубийством, а буду продолжать жить и буду счастлива и после их смерти, потому что такова уж природа человека, что за его ночью наступает день, а за днем ночь, а жизнь все продолжается и высушивает слезы, и уже не Аличка, а кто-то другой обнимает меня и вытирает мне глаза, и сам тайком плачет.

А когда никого нет рядом, я вспоминаю слова Марианны, что человек никогда не бывает одинок и в самые трудные минуты Бог всегда с ним, протягивает соломинку спасения, за которую нужно держаться, пока не настанет новое утро, и ты сам не увидишь путь. А жизнь, она продолжается, сквозь боль и неуверенность, сквозь что бы то ни было. И боль перебродит и превратится в стихотворную строку, как гусеница превращается в бабочку, а виноград – в вино.

Я сжимаю руку Марианны, и во мне впервые появляется чувство ностальгии по-настоящему времени, когда я всё еще маленькая, и все любимые мной люди живы, и еще можно всё исправить, и есть время попросить прощения и за мои слезы, и за моё неверие.

III. Обертоны рая

Ева: – Как ты считаешь, милый, чем человек может порадовать Господа?

Адам: – Не знаю. Наверное... счастьем? Когда человек счастлив, он больше всего соответствует своему оригиналу.

Ева: – Быть счастливым, это настраивать свою душу в лад с обертонами Творца?

Адам: – Быть консонансом в полифонии жизни, в хоре бесчисленных миров, славящих Творца.

Ева: – Но чем дальше от Рая, тем сложнее услышать основной тон, по которому нужно настраивать душу.

Адам: – Да, но основной тон – глас Творца, все равно будет жить в каждом создании. Просто все сложнее будет для наших детей услышать тишину, в глубине которой он звучит.

Ева: – И со свободой выбора все не просто. Ведь человеку свойственно хотеть вовсе не то, что ему нужно. А то, что нужно, часто совсем не хочется. А ведь только то, что нам нужно может привести к счастью, а то, что нам хочется обычно уводит дальше от цели, если целью можно назвать божественную гармонию.

Адам: – Ты правильно рассуждаешь, моя маленькая Ева. Так нам хочется отведать запретный плод, который нам совершенно не нужен и который приведет ко стольким несчастьям. А высшее блаженство, как правило, напоминает изнуряющий труд. И в любви, и во всем остальном.

Ева: – А ведь в каждом творении лежит отпечаток красоты и гармоничности самого Творца – Того, кто является нам и от-

цом и матерью, в ком сходятся все противоположности, все женское и мужское, все временное и все вечное.

Адам: – Помнишь, как мы создавали физический мир?

Ева: – Да, тогда Господь позвал тебя, чтобы ты дал имена всем животным, растениям, минералам и прочим созданиям и явлениям мира.

Адам: – Не «дал имена», а назвал по имени. Их имена и являются их сущностью. Не забывая, что мы с тобой общаемся на первозданном языке идей, а не слов. Язык наших детей возникнет по образу и подобию нашего языка, но будет так же отличаться от оригинала, как мы отличны от Творца.

Ева (после паузы): – Адам, а ты счастлив?

Адам: – Ева, мы же в Эдеме.

Ева: – Я знаю, но ты скажи, я хочу это услышать, как Господь хотел услышать названия созданных им творений из твоих уст.

Адам обнимает одной рукой Еву, другой показывает на первые вечерние звезды.

Адам: – Послушай.

Ева смотрит на звезды, потом закрывает глаза и молча слушает. На губах ее показывается счастливая улыбка.

Адам: – Рай создан для этой музыки; музыки Создателя, музыки вселенной, музыки звезд, дивной гармонии, бездонной и прекрасной, как это небо, как этот мир, как любовь Творца. Эта музыка – и есть акт творения, воля Бога, Его любовь, он сам. Слышать эту музыку – счастье. Я счастлив, Ева.

Ева и Адам, обнявшись молча слушают музыку звезд, и удлинившиеся тени деревьев сплетают рамку вокруг них, завершающую совершенство этой картины, как последний мазок гениального художника, любящегося собственным творением.

Постлюдия № 12 соль-диез минор • А снег всё идёт

Самое печальное во всех конфликтах это то, что ссорящиеся стороны, как правило, утрачивают способность понимать друг друга. То, что, казалось бы, вызвало конфликт, вовсе не является его причиной, а настоящая причина может быть совершенно в ином месте и в иное время, и сам конфликт – лишь верхушка рифа, основание которого скрыто пучиной. Кроме того, в момент ссоры каждый надевает столь толстый защитный панцирь, что сквозь него становится трудно услышать и понять собеседника.

Мне шестнадцать лет. Я лежу на жестком топчане в Марианниной комнате, из которой после ее смерти были вынесены огромные бочки с сухарями, вареньем и прочими запасами на случай войны, которые Марианна, пережившая две войны и голод, упрямо отказывалась выкинуть.

Продукты эти были столь старыми, что однажды, когда Марианна угостила меня шоколадной конфетой из своих запасов, развернув разноцветную обложку я в ужасе обнаружила комок червей вместо обещанного шоколада.

Я лежу, год спустя после Марианниной смерти, на ее деревянном топчане и, смотря на обклеенный коричневыми обоями потолок, думаю о жизни. Невеселы эти мысли. После смерти Марианны я чувствую, как в пространстве вокруг меня образовалась пустота. Разглядывая потолок, я размышляю: любовь Марианны ко мне не зависела ни от чего – ни от школьных экзаменов, ни от музыкальных успехов. Родителей же любовь я должна заслуживать хорошими оценками. В детстве, идя на очередной экзамен, я спрашивала маму: «Мамочка, а ты меня будешь по-прежнему любить, если я получу четверку, а не пятерку?» (система оценок была пятибалльной), на что мама задумчиво отвечала мне: «Не знаю, не знаю...», что я воспринимала вполне серьезно.

Я чувствую себя виноватой во всем: в мамином плохом здоровье, в папином молчании, в домашних трениях. Будущее мне

представляется в мрачном свете. Я лежу на Марианнином топчане. За стеной раздаются монотонные гаммы маминых учеников.

Неужели так и будет всю жизнь – одиночество, чувство тупика, когда не видишь выхода и все одинаково серо и замкнуто? Господи, отвори дверь клетки! Зачем ты мне дал крылья, но не даешь летать?

Я отворачиваюсь к стене, обнимая игрушечную старую собаку Авву, из которой я выщипала всю шерсть, когда была маленькая:

– Как ты думаешь, Авва, неужели так и будет всю мою жизнь? Неужели я всегда буду так несчастлива? Как устаешь от самой себя. Как хочется навсегда освободиться от тела – этой оболочки, от своих мыслей, от глаз, чтобы не видеть, не слышать, не ощущать изо дня в день эту склизкую хандру. Выкинуть себя, как изношенную одежду, из которой давно выросла.

За окном, сквозь разукрашенные морозом стекла видно бледное, выцветшее из-за снега, небо. А снег все идет и идет, словно хочет засыпать всю землю, защитить ее от ветра глубоким покрывалом, погрузить ее в глубокий сон смерти, не ведающий еще о своем пробуждении. И нет ничего прекраснее этого белого чуда.

Я открываю окно, несмотря на мороз. Белые звезды залетают в комнату. Я ловлю их на ладонь. Они, смешавшись со слезами, тают у меня на руках. И каждая снежинка совершенна и неповторима. И я думаю, быть может радость жизни – в самой жизни, в этом снеге, заметающем город и в том, что не дано нам знать будущее, и, как знать, может жизнь будет не так уж мрачна и однообразна, как может показаться в минуту печали. Главное – ее не бояться.

– А я и не боюсь, правда, Авва? – я закрываю окно.

Таинственный плешивый Авва внимательно смотрит на меня своими разными глазами – настоящим и пуговицей, словно хочет сказать:

– Ну вот и умница. Не кисни. Завтра будет новый день, ведь утро вечера мудренее.

Постлюдия № 11 в си мажоре • Метроном

Наши отношения со временем прямо противоположны тому, как к нашему времени относятся другие. Ребенок, родившись, безразличен ко времени, и потому его душе дарована всеобъемлющая безвременность. Отношение к нему взрослых («других») определяется вначале минутами (сразу после рождения), потом днями (родители заводят дневник, отмечая ежедневные наблюдения за чадом), неделями, месяцами. О ребенке мы говорим: «Ему шестнадцать месяцев». О взрослом – никогда не скажем: «Ему сорок пять лет и шесть месяцев». Наконец, где-то после пяти лет, взрослые начинают отсчитывать возраст ребенка годами (пять, шесть, семь лет).

Приблизительно тогда же сам ребенок впервые начинает осознавать идею времени и ощущать ее на себе. Дни рождения становятся для него не только способом получить подарки, но и точкой отсчета. Когда он взрослеет и время начинает все больше занимать его мысли, отношение окружающих к его возрасту (к его времени) становится все более расплывчатым. Они говорят: «Ему между 25 и 30 годами» (счет идет уже на 5 лет); далее: «Ему между 30 и 40» (счет идет на десятилетия); чем ближе к старости, тем больше расплываются границы времени в «чужих глазах», но «фокусируются» в его собственных. Этот процесс продолжается и после смерти. Смерть – точка предельной концентрации времени, дарованная определенному телу, одновременно возвращающая душу в первоначальную бесконечность – «вневременность». Для живых, продолжающих жить во времени, границы жизни умершего расплываются все больше и больше. О нем уже говорят: «Он жил в первой половине такого-то века» (50 лет); потом: «Он жил в таком-то веке» (100 лет); потом: «Он жил в такую-то эпоху» (200 + лет); потом отсчет идет уже на тысячелетия – если умерший был личностью выдающейся.

Что же такое время? Существует ли оно? Или же Кант был прав, утверждая, что время – больная выдумка человеческой фантазии?

Да, – Время существует в мире тел (точек).

Нет, – Времени нет в мире души (окружности).

Я спросила ребе: «Что такое Время?»

Он закрыл глаза, прислушиваясь к внутреннему голосу, и ответил:

– Время – это количество движений. Как в метрономе. Между двумя ударами может поместиться одна длинная нота или же много быстрых нот (действий). Чем больше действий, тем больше Времени. Лишь творчески работая, человек способен сам «творить» Время. Дети – творцы. Именно поэтому Время в детстве кажется бесконечным.

Постлюдия № 10 до-диез минор • Первый гонорар

Когда мне было четыре года, каждый день Марианна водила меня на прогулку либо на кладбище, где у нее была своя могила, либо в горсад, где дети катались на самокатах, игрушечных машинках и чудесных маленьких колясках с пластмассовыми лошадками, которые, когда нажимаешь на педали, перебирают ногами в воздухе – совсем, как настоящие лошади. Все эти чудесные вещи бралась на прокат на срок от получаса до двух часов. Марианна же, за отсутствием денег, или же, не желая тратить их на такую блажь, никогда мне их не брала. Все эти самокаты, машинки и лошадки притягивали меня и, ах, не было ничего желаннее для меня, чем прокатиться на таком вот чуде техники по асфальтированной площадке горсада.

Что делать? Мои жалобы, я знала, ни к чему не приведут. У Марианны нет денег, родители со мной на прогулки не ходят, а на мои просьбы купить мне самокат, мама всегда отвечает «на обратном пути», и мне лучше, чем кому бы то ни было, известно, что этот «обратный путь» никогда не настанет, и что это просто мамин способ отказать мне, не отказывая.

Но я не сдавалась и довольно быстро придумала, как можно добиться своего без помощи взрослых. Делалось это так: наблюдая за катающимися детьми, я замечала, на какой скамейке сидит сопровождающая ребенка бабушка, и к ней-то я и подходила, пока ее беспечное чадо, ничего не подозревая, наслаждалось самокатными пируэтами и бибиканьем игрушечных машинок.

Я подходила к своей жертве, невинно опустив глазки и как бы просто прогуливаясь. Рыбка неумолимо клевала на удочку.

– Ах, какое прелестное дитя. Подойди сюда деточка. Как тебя зовут? С кем ты здесь?

Я охотно отвечала на все вопросы и, в свою очередь, доверчиво предлагала:

– А хотите, я вам стихотворение прочитаю? – прекрасно понимая, что скучающие на солнышке бабушки рады любому развлечению. Стихов я, благодаря маме, знала множество и умела их читать с выражением.

Бабушки приходили в совершеннейший восторг.

– А что ты еще умеешь делать?

– Я могу вам спеть песенку, – и я пела одну из популярных песен, прихлопывая в ладони и пританцовывая. После этого неотразимого номера, я знала, что рыбка прочно сидит на крючке и целиком в моей власти. Закончив пение и выслушав поток комплиментов, я спрашивала:

– А знаете, что я делаю лучше всего?

– Что? – спрашивала моя жертва.

– Лучше всего я катаюсь на самокате! (или на машинке, или на лошадке, в зависимости от того, каким сокровищем обладало ее чадо), – гордо выпаливала я, и дальше было дело считанных секунд, пока старушка позовет свое беспечное дитя, чтобы я могла покататься в своё удовольствие.

Эти ранние заработки были неоспоримым подтверждением могучей силы искусства, когда стихи и песенки могли принести то, в чем мне отказывали взрослые. Самокат оставался моей страстной мечтой на протяжении всего детства, пока, наконец,

когда мне было уже лет одиннадцать, я обнаружила в прихожей новый прекрасный самокат – это был подарок мне на день рождения от деда Исаака. Но обладание мечтой принесло чувство разочарования, и восторг пропал через несколько дней. А потом самокат был кому-то одолжен и так и бесследно пропал, как пропало множество вещей, за которыми стоят вереницы воспоминаний. Вещь пропадает, а память остается. Может, дом человека – это его память, и, куда мы помним, наш дом всегда с нами?

Постлюдия № 9 ми мажор • Неужели я настоящий?

Бог изгоняет провинившихся детей, дабы не познали они бессмертия тела. Смерть – благо. В страдании – очищение, в рождении – новая попытка. Свойство Феникса – умирать и возрождаться даровано людям. В акте изгнания – надежда на возвращение, ибо даже для блудного сына двери отчего дома открыты. Но путь домой он должен совершить сам.

...И снова, теперь уже за морями-океанами, я лежу рядом с одноглазым Аввой и смотрю в потолок. Старенький Авва был первым существом, последовавшим за мной в Америку. На границе таможенники никак не могли понять, зачем мои родители посылают в богатую Америку такую старую игрушку.

*«Неужели я настоящий, и действительно смерть придёт?» **

Невсамделишность, нереальность бытия.

Неужели это происходит действительно со мною?

Я ли это? Скольжение по поверхности, мучительное чувство невесомости. Песок не удерживает формы. Ужас несуществования.

Болезнь нашего времени – атрофированность чувств. Фильмы ужасов с бесконечными убийствами, жестокие мультфильмы для детей, где в течение десяти минут звери непрерывно лупят друг друга по голове, разбиваются и попадают во всевозможные катастрофы. Кинематограф – проституция чувств, где за солид-

ные суммы актеры спят друг с другом под взглядами миллионов зрителей. Отсутствие частного, личного, сокровенного. Мир превращается в громадный аукцион без возможности спрятаться от любопытных взглядов.

Нереальный, потерянный, амбициозный, несчастный мир достался двадцать первому веку от умершего в судорогах революций двадцатого. Двадцатый век – калека, так никогда не оправившейся от шока катаклизмов. Когда слишком много страдания, чувство боли атрофируется. В конце войны, на осколках поражения (а любая война кончается только поражением, побед не существует в природе), сражающийся хочет, как правило, лишь быть оставленным в покое. Пусть другие ломают штыки и копья. Существовать – это уже достояние. Жить – роскошь избранных. Скользить по мертвому льду подобий – участь большинства. Неправдоподобные декорации сиюминутного Времени диктуют участникам спектакля их роли.

Постлюдия № 8 фа-диез минор • Сон

Мои сложные отношения с Временем усугублялись снами. Сны смывали все рамки, направления или определения времени. Более того, сон был, пожалуй, моим главным времяпрепровождением. Сны были столь яркими и глубокими, что часто днем я продолжала находиться под впечатлением увиденного ночью, и дневная реальность была намного скуднее ночной.

Я сейчас скажу нечто странное, что, возможно, вызовет поднятие многих недоверчивых бровей, но, тем не менее, я это все же скажу, ибо так оно и есть: – мое главное обучение, мои главные учителя являлись и иногда продолжают являться мне во сне. Многие из этих учителей – это узнаваемые, «реальные» люди из прошлого, которые приоткрывают моей душе во сне какую-то ситуацию или эмоциональное переживание.

Что же касается моего «официального» внешнего образования, то главной моей задачей было не повредить моим

сновидениям. О Морфей, сладчайший из богов, посещающий все души. Кто может с уверенностью сказать, что мир, где наши души обитают во время сна, не является «настоящим», а наша повседневная жизнь – «вымыслом»? Кто знает, быть может наша дневная жизнь – лишь сон нашей души? Как определить, что такое реальность?

Сон обволакивал мой мир зеркальным лабиринтом отраженных реальностей, водорослями живых образов. Иногда в мои сны врываются чужие сны, как в испорченной телефонной линии вдруг слышны чужие голоса; иногда сны наслаивались один на другой, вращались друг в друга корнями так, что было уже неясно, какой из них мне снится.

*«Баю-баюшки-баю.
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок
И ухватит за бочок
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток»,* –*

пела мне Аличка, и я представляла себе несчастного, облезлого, совсем не страшного, а скорее жалкого и голодного серенького волчка, ходящего взад-вперед под окном.

*Спят усталые игрушки, книжки спят,
Одеяла и подушки ждут ребят.
Даже сказка спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.
Ты ей пожелай: «Баю-бай».**

«Спокойной ночи, малыши» – ежевечерняя детская передача, после которой детям полагалось послушно засыпать.

«По кочкам, по кочкам – в яму – бух!» – пела Марианна за незнанием лучшей колыбельной.

Сон – сон – сон...

Постлюдия № 7 ля мажор • Диссонанс

В любом конфликте человек бесконечно одинок, ибо отражает конфликт разлад внутри самого человека. Так путник может заблудиться в поисках обратного пути; так расстроенный инструмент искажает знакомую мелодию. Тени рождены светом. Конфликт – диссонанс, несовпадение с образом Бога в себе; и другой человек, вызывая раздражение в тебе, сам того не ведая, указывает на внутренний разлад в твоей душе. Чтобы понять себя, нужен внешний мир, и другой человек, прежде всего (особенно во время конфликта) отражает тебя самого.

ЧАСТЬ VIII • ЧИРЛЮМ-ЧИРЛИМ

Трио Ор. 1а

III. Кота Чеширского улыбка

II. Ребенок ужасный

I. В раю

III. Кота Чеширского улыбка

Улыбка Чеширского Кота тает в воздухе. Жарко. Волчонок Маугли уползает в джунгли. Змий спит или же притворяется спящим. В волосах у Евы – алый цветок. По губам ее течет сок, каплет на траву. Ева ест яблоко. Бог Пан, давно перестав играть, спит на дереве; ему снятся нимфы. Дар в ров. Кот-обормот-оборотень. Кот-король. Улыбка без кота, что кот без улыбки. Это Чеширский кот. В воздухе появляются очертания гигантской улыбки. Змий прикрывает веки.

От земли поднимаются чувственные испарения. По губам Евы течет сок, капает на траву. Ева надкусывает белыми зубами яблоко. Змий стар и мудр. Змий улыбается. Змий молчит.

Ева: – А что такое гордыня?

Ева поднимает на Змия свои прекрасные глаза с рыжими длинными ресницами: невинные, упрямые, бесстыжие (без-стыжие, без стыда, еще не ведающие стыда) глаза.

Змий: – Так и стоит она, клонится к земле, каменная опухоль, творение не разума, но гордыни. Перестали они понимать друг друга, бросили строить башню. Но смешал Бог языки их, чтобы не могли они больше понимать друг друга, дабы избежали они гибели во имя собственного невежества. Каменная опухоль – символ людской гордыни. Облака, проплывая, задевали ее. Она была уже выше самого высокого дерева в округе, самого высокого строения. Башня росла, росла, росла...

Ева: – Ну, продолжай!

Змий замолкает и зевает.

Змий: – Собрали они камни и начали строить. И в гордыне своей решили они построить такую башню, чтобы достать ею до небес.

Правая рука заведена за голову – к поваленному стволу, левой Ева машинально играет яблоком (не запретным плодом, а просто алым, полным сока животворным яблоком). Рыжие волосы стекают по обнаженным плечам. Глаза ее полуприкрыты.

– Змий, так что же было дальше? – спрашивает Ева.

Ева не спит. От земли поднимаются к небу чувственные испарения. Жарко.

II. Ребенок ужасный

...Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон,

Сонность – нос-сон-нос, нос вытри, нос царственный рас-
цар-рапанный – арап-царь раз как.

Сон-спи-соль-слёз, стих-стих, сыр-сир. Ребенок ужасный.
Шулериграетврулетку. Шулер, Лир король, лира-Лера, Лера, король, оборотень, обормот-кот.

Некому, да надо тебя драть! Ободрал кровь в руки – воров держи, ров в дар, здоровье мамино гробит. Себя угробит. И в гроб – крови заражение заработает за работой раб горбатый. Гробадоб-гроб-горб.

...Не новей, конечно, жить, но и не ново умирать.

Бо-лит-больней-больной-больно-бобо. С пеленок. Спросонок. Ребенок ужасный. Ни за грош пропадешь. Умрешь и крови заражение заработаешь, заражение заработаешь, вот. Что бы хоть ей!

Бровей не печаль и не грусти, слова без руки без...

Кровь в руки... Бровь не хмурь. Вор-ов, воров бойся, в ров взвод, в кровь р-руки. В кровь руки расцарапал, р-раз-царь-аррап-орал, расцарапал и орал кот.

Собака была у попа. Икота была у кота. Икоторал. Орал и кот. Королем его объявил...

*Дом кошкин загорелся! Бом-тили! Бом-тили!** Королем его объявил. Та-та-тра. Кота на штанишки еще надел от мишки плюшевого (брысь, кыс-кис, мышь-киш, муж-плюш), мишки плюшевого от, мишки от, чепец кота на надел, в шкафу кота запер ребенок ужасный этот опять. Змея глаза, злые глаза. Не мигают змеи, говорят. Близнец Сиаемский. Сиаемский, Кось Кот.

Шкафу в платяном, в шкафу запер кота который, тот, ребенок ужасный этот, ребенок ужасный, ужас, ужа уже, уже, хуже еще есть, *но неуклюжий такой верблюжий горб*,* горб носит грубиян, груб, горб, горбунок, Горбунок-Конек, нок-спок, ац-нок, конца кольцо, сердца лица, сердца стук, сток, каток, ко-ток, кот-ток, цокот, сокол, цоколь-кольцо, лицо, лица, кра-са-вица спящая, царство сон-ное, сонность, сон-нос.

Финн, Сфинкс, осирис, ирис, сирис, рис-сир...

Сир, сыр, стих, слезы, соль, снег, сон...

Сыр, стих, слезы, соль, снег, сон...

Стих, слезы, соль, снег, сон...

Слезы, соль, снег, сон...

Соль, снег, сон...

Снег, сон...

Сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон, сон...

И. В раю

Жарко. От земли к небу поднимаются чувственные испарения. Теперь за Евой наблюдает, кроме Маугли, впервые увидевшего женщину – нагую женщину, козлоногий бог Пан. У Пана печальные глаза спаниеля. Он очень стесняется своих козлиных ног. Ева, погружаясь в дремоту соскальзывает на траву. Змий услужливо кладет ей охапку листьев и цветов под голову – вместо подушки. Волчонок Маугли подползает поближе к кустам и замирает. У него течет слюна.

«Мы с тобой одной крови, ты и я.»* Подползти поближе?

Змий предостерегающе поднимает голову и смотрит невидящими глазами в сторону пошевелинувшихся веток...

«Лучше не надо» – облизываюсь...

Бог Пан вынимает свою свирель и начинает играть.

Из кустов выглядывает осторожно Маугли, сын волчицы, брат Ромула и Рема. Из зарослей выходит нагая Ева. От земли к небу поднимается влажный чувственный пар. У Евы в волосах алый цветок. В руках – яблоко (пока еще не запретный плод, а просто яблоко – алое, полное сока животворное яблоко). У ног ее (цвета пшеницы, упругой шелковой пшеницы) стелется Змий. Он улыбается. Змий мудр и стар. Глаза его сладки, как мед, глаза, источающие мед, сладкий мед, медоточивый взгляд, вязкий, цепкий и ленивый, черными щелками зрачков. Говорят, змеи никогда не мигают. Нет, не нужно опасаться. Ничего плохого нет в том, что Змий беседует с Евой. Змий – Божье создание, давно вкусившее дар познания. Все идет по Божьему плану. Ева садится на поваленный ствол дерева, Змий обвивается вокруг ее ног, кладет голову ей на колени и прикрывает глаза.

Театр – темная захламленная кладовка.

Зал – платяной шкаф.

Я – актер, я же – зритель. Занавес поднимается. На сцене – джунгли. Лианы цепко вьются по стволам высоких прекрасных деревьев. От молодой земли поднимается в небо влажный чувственный пар. На ближайшую ветку садятся две разноцветные птицы с длинными носами и высокими хохолками.

– Чирлим-чирлюм, – говорит одна.

– Чирлюм-чирлим, – отвечает другая.

– Чирлюм-чирляминам? – спрашивает первая.

– Ци-коон, Ци-коон, – подтверждает вторая.

– Ципун-цы, Ципун-цы, – смеется первая.

Птицы улетают.

Постлюдия № 6 си минор • Птицы улетают

Куда уходит детство? Мир ребенка, столь отличный от мира взрослого? Мир, еще не знающий стыда, цельный и неповторимый...

Взросление наступает, когда тебе утром страшно встать. Быть может высший героизм – это мужество человека, осознающего бессмысленную суетность существования и, тем не менее, находящего в себе силы встать утром с постели, преодолев искушение пролежать целый день лицом к стенке, свернувшись калачиком под одеялом.

Забота и Вина, две сестры, обладающие возможностью увеличивать силу притяжения земли и, если в детстве ты умел летать, то сейчас эта удвоенная сила притяжения держит тебя в цепях.

Выход? Безвыходных ситуаций же не бывает. Можно уйти от мира либо в прямом смысле (жить где-нибудь в глуши), либо в переносном (уйти с головой в какую-нибудь философию или узкую научную область – ведь посвящают же люди всю жизнь, изучению проблемы пространственности в поэзии или изучению творчества Генри Исаака, без которого, согласно учебникам музыкальной истории, не было бы ни немецкой музыки, ни, соответственно, всей западной музыки с ее Бахом, Бетховеном и Ко. Возможно, наоборот, окунуться в этот мир, добиваясь в нем славы и богатства.

Но если первый вариант напоминает бегство, то второй при внешнем успехе, почти неминуемо обречен на поражение, ибо карьера и успех – как линия горизонта, чем ближе – тем дальше, чем больше имеешь – тем больше хочется, и что-то очень важное, быть может самое важное, теряется в этой постоянной гонке.

Возможно, и существует третий путь, где-то посередине этих двух дорог, путь Странника, смотрящего на мир со стороны и творящего новые миры своим созиданием?

День седьмой был самым важным днем Творца. Недаром он длится вечность. Акт созидания, точка, в которой отдельные зву-

ки сливаются с цельную гармонию и видишь произведение с высоты птичьего полета. Это путь ребенка, над которым не властна ни сила притяжения, ни Время, ни Вина, ни Забота.

Постлюдия № 5 ре мажор • Риторнелло

Осень. Я в Аспене, маленьком горном Колорадском городке. Аспен, мое начало начал в этой противоречивой, приютившей меня стране. Аспен, который я с чувством первооткрывателя, ступившего на ранее девственную территорию, открыла во время моей первой недели в Америке, в грозном 1991 году, еще до моего судьбоносного бегства, когда я даже не догадывалась, что этот городок сыграет такую важную роль в моей жизни.

И вот, почти десятилетие спустя, я, в сопровождении йоркширского терьера Шейлы, названной в честь давно умершей овчарки Шейлы, забираюсь высоко в горы – к холодному родниковому озеру на вершине суровых Марун Беллс – гор, получивших такое название благодаря их форме, напоминающей огромные колокола, сходящие прямо с неба.

Там, около озера, есть поваленный ствол дерева, окруженный с трех сторон вечнозелеными соснами. Горы невольно наводят мысль об обобщении и о взгляде в то будущее, которое мой земной взгляд не увидит, но в котором будут и эти горы, и это озеро, даже если поваленный ствол зарастет цветами или рассыплется в древесный прах.

Над озером разлит предвечерний свет, когда очертания проступают более отчетливо, чем днем, но видны еще детали; и видишь их одновременно с обострившимся силуэтом в последний раз, ибо сумрак вечернего угасания сотрет вначале все детали, оставив предметам лишь их форму, перед последним ночным мазком, возвращающим форму в изначальную бесформенную материю – в глубокий сон смерти, не знающий еще о своем утреннем воскресении.

К этому месту я всегда возвращалась, приезжая в Аспен. Но сейчас, быть может благодаря предвечернему освещению, быть может, благодаря налитой зрелости набухшего золото-багровой роскошью сентября, стоявшего в великолепии своих последних дней позднего индейского лета, роскоши предсмертия, наподобие предвечернего освещения, а быть может благодаря чувству ностальгии по совершенному настоящему, все казалось особенно торжественно-праздничным и просветленно-грустным в своей торжественности.

Тетрадь с «Зеркалом» была у меня с собой.

– *Ritornello... Ritornello...* Возвращение... – повторяла я, поглаживая Шейлу и смотря на сверкающую поверхность озера.

– Возвращение – это всегда начало конца, и радость достижения цели окрашена грустью умерщвления этой цели. Когда достигаешь то, к чему стремишься, это означает, что цели твоего стремления больше нет. Поэтому ни возвращение домой, ни возвращение дома по-настоящему невозможны и больше полны разлукой, чем наполненное ей ожидание возвращения, – слова эти принадлежали оказавшемуся рядом со мной мужчине в полотноной длинной рубашке.

Садящееся солнце стояло прямо за ним, и мне невольно пришлось заслонить от света глаза, посмотрев на него. Шейла тревожно заострила уши при виде незнакомца.

– Возвращение домой и возвращение дома? – переспросила я, – Что вы имеете в виду?

– Возвращение домой и возвращение дома не одно и то же, и смысл зависит от того, что подразумевается под словом «дом». Домом может быть квартира, в которой вы провели детство, или же место, где живете сейчас, или же воображаемое пространство, куда вы уноситесь мечтаниями, или же близкие вам люди, или же дорогие вам умершие. Это зависит от человека, – он помолчал. – Многие, не покидая дома, странствуют по всему миру, другие же странствуют именно в поисках дома. Пути Господни неисповедимы.

Незнакомец подошел к самому краю озера, нагнулся и, взяв в руку камешек, бросил его в воду. Камешек отскочил от поверхности несколько раз, оставив за собой цепь расходящихся кругов. Незнакомец довольно цокнул, отряхнул ладони и вернулся к поваленному дереву:

– Горы потому и замечательны, что напоминают нам о вертикали. Мы часто живем, как если бы существовала лишь горизонталь, от сегодня – к завтра, а ведь там, где есть горизонталь, действует и вертикаль, – он сощурил глаза на садящееся солнце. – Солнце умирает, настанет ночь. Это залог возрождения. Колесо Фортуны катится: верх становится низом, низ – верхом; свет – тьмой, тьма – светом, прошлое – будущим, будущее – прошлым; мужское – женским, женское – мужским; младенец – стариком, старик – младенцем. Двойственность и единость возрождения, бесконечное *ritornello* жизни. Самое случайное полно глубочайшей закономерностью, а реальность порой фантастичнее любой выдумки. Вот ты сейчас думаешь: Кто он, этот человек? Для незнакомца он слишком хорошо меня понимает, но я не знаю, кто он и откуда, хотя что-то мне в нем напоминает о... не знаю о чем, о чем-то хорошо знакомом, но, тем не менее, я его никогда не видела.

Я вздрогнула:

– Кто вы?

– Ой, как скучно. Кто вы и откуда, и сколько вам лет – типично-горизонтальные вопросы ограниченного мышления. Если я скажу, что я из города N., зовут меня N. и мне N.-ое количество лет и еще добавлю профессию и должность, то ваше любопытство будет удовлетворено, и вы будете думать, что знаете обо мне достаточно для вполне комфортабельного продолжения беседы. Но я в этом необременительном знании не вижу ничего примечательного, так как каждый где-то и когда-то родился и, по существу, это ни о чем не говорит, за исключением создания ложных концепций, засоряющих сознание.

– Хорошо, но как вас зовут? – спросила я, несколько огоршенная тирадой странного незнакомца.

– У меня было много имен. Чаще всего меня называли Иосифом.

Я уже хотела представиться, но Иосиф остановил меня:

– Не надо. Я знаю достаточно о тебе из страны зазеркалья, а это главное реальной Леры. Более того, в зазеркалье ты и я и другие вымышленные реальностью персонажи проводили долгие беседы, сопоставляя факты наших биографий.

– И у нас было много совпадений?

– Предостаточно, – просмаковал это сильное слово мой новый знакомый.

К этому моменту я решила, что установить его возраст и впрямь невозможно. Его можно было назвать и старым, и молодым, он был бесспорно очень миловиден с его мечтательными глазами и длинными волнистыми волосами, но эта странная безвременность несколько отпугивала, ибо в зависимости от освещения иногда казалось, что перед тобой юноша, а иногда – старик. Причем изменение от юноши к старику было игрой светотени, столь неуловимой, что казалось, скорее, оптическим обманом этого предвечернего, вернее, уже ранневечернего часа с его последними лучами тающего солнца, отражающимися в озере. Мой новый знакомый продолжал:

– О, мне всегда нравилась игра сопоставлений и параллелей. Ибо, с одной стороны ничего не означая, с другой они создают метафору бытия и, узнавая отражения, догадываешься об оригинале.

– Какие же совпадения могут быть между нами?

– Ну, например, как и ты, я в семнадцать лет навсегда покинул отчий дом и уже никогда не мог возвратиться в страну, где родился. Как и в твоём случае, разрыв этот произошел внезапно и был незапланированным. Как и ты, семнадцатилетним подростком, я оказался в далекой могущественнейшей империи, в которой я не знал ни единого человека; стране, одновременно и варварской и доверчивой, поклонявшейся незнакомым мне бо-

гам, изощренной и наивной, к роскошной пышности которой я относился с насмешливым восхищением. И со временем я стал ее полноправным гражданином, сохранившим навсегда свою собственную религию и шкалу ценностей.

Я посмотрела на тонкие скулы незнакомца, на его тень, напоминающую характерными углами каменные фигуры Древнего Египта.

– Так это вас братья из ревности увели от отца и продали в Египет? – догадалась я. – Вы Иосиф, сын Иакова и Рахили. Чем обязана такой чести?

Египтянин улыбнулся, отмечая мою запоздалую догадку.

– Если не ошибаюсь, еще в первой части «Зеркала» в список действующих лиц ты включила своего покорного слугу, – Иосиф слегка поклонился, – Упоминаешь меня ты, правда, последним, но тем не менее, я был чрезвычайно обрадован этим вниманием, так как со времен кропотливого Томаса Манна, почти никто из пишущей братии не обращался к моей персоне, как персонажу зазеркального действия, за исключением нескольких стихотворных намеков, да религиозных трактатов, кои хоть и лестны, но все же слишком направлены к прошлому, то есть невольно обречены на окаменение, в то время, как я, как и другие жители зазеркалья заинтересован в движении и рад случаю размять косточки, – он сладко потянулся и сощурился на садящееся солнце.

– Но я всерьез озаботился тем, что большинство упоминаемых тобой персонажей были задействованы, а я по-прежнему лишь фигурирую в списке отражений, но не более. А ведь солнце твоего повествования уже давно пошло на убыль. Со мной же тебя связывает куда больше, чем с другими персонажами романа. Я не только твой отец, ибо являюсь твоим далёким прапрапра... дедом; я не только твой ребенок на страницах «Зеркала», но я так же твой исторический двойник. Ты – продолжение, обновление умершей истории о еврейском мальчике, проданном во всемогущественную Империю, взрастившую и воспитавшую своего питомца, которому уготовлено было стать

ее хранителем и голосом. Что же это, как не виток спирали, где старик становится ребенком, муж – девой, прошлое – будущим, а вымысел – правдой?

– И все же, достопочтимый Иосиф, сын Иакова, хоть мне такое сравнение и более, чем лестно, оно кажется мне весьма сомнительным. Слишком уж много воды утекло между Древним Египтом и Америкой, времена нынче совсем иные, и в рабство меня никто не продавал за двадцать сребреников, да и занятия наши в жизни совсем не похожи.

Иосиф насупился.

– Ты мыслишь по привычке горизонтально. Там, где нет времени, нет и особенной разницы между Египтом и Америкой, мной и тобой, это внешнее видоизменение очередного витка спирали, где все соткано по образу и подобию. И то, что происходит с тобой – уже случилось со мной, и не единожды. Но на то на нашем пути и встречаются горы, чтобы, стоя на вершине, узнать, что было истинным, а что ложным – там, внизу.

– Это правда. Но все же, простите за нескромность, Иосиф, вы мне кажетесь больше обаятельным персонажем, самолюбивым в своем стремлении попасть на страницы обещанного повествования и пытающимся подкупить автора не только своей исторической похожестью и отдаленным родством, но и соблазнительной мыслью о древнем контрапункте событий, о встрече с собственным двойником на страницах истории мира, что, хоть и очень заманчиво, но слишком уж грандиозно.

Иосиф грустно пожал плечами.

– Разве это не ты сказала, что реальность порой фантастичнее любой выдумки? И я бы, на твоём месте, не стал отмежевываться от Великой Империи, как от чего-то давно умершего. Древний Египет – вовсе не страна, а понятие. И существует сейчас, как и существовал всегда... Смотри, у тебя что-то выпало из кармана, – Иосиф наклонился и протянул мне скомканную бумажку. Это был американский доллар. Я машинально разгладила его на ладони и вздрогнула. С доллара смотрел на меня всевидящий глаз Ра с

верхушки египетской пирамиды. Я подняла голову. Рядом со мной никого не было. Шейла спокойно дремала у моих ног. Смеркалось. Я снова посмотрела на долларовую бумажку.

Как я раньше не замечала? Древний Египет лежал у меня на ладони, и око на верхушке пирамиды насмешливо наблюдало над моим изумлением.

Постлюдия № 4 ми минор • Что остаётся?

Уходя – уходите...

Но что, если уйти так же немисливо, как и остаться? И за каждым уходом остается присутствие, отпечаток, след в воздухе? Куда уходить? От себя? В себя? Из себя? В будущее, в то, что предстоит? Но ведь оно уже было, его отпечаток, след его ухода – присутствует. Потому оно и пред-стоит, что уже было. И дорога человека – возвращение к истоку истоков.

Прошлое? Но ведь оно уже в настоящем, оно длится, память беременна прошлым и не вырезать ее – не сбежать от себя.

В глазах же рябит сиюминутная суета сует, на которой концентрируешься, чтобы забыть о главном – об уходе и присутствии. Дела, делишки, – пыльная завеса, за которой так удобно прятаться от собственного я.

Суета... Но все же что-то остается.

Что остается?

Глаза ребенка, покачивающегося на кресле-качалке и внимательно смотрящие на свое отражение; блестящие рожки сатира и утерянная шпага Дон Кихота; разноцветные человечки около домика, в котором печется Аличкин «тертый торт»; Марианнины кружки из старых тряпок; изогнутый перед прыжком сиамский кот Кось с немигающими зелеными глазами; танцующие звуки, превращающиеся то в интервалы, то в аккорды; играющие на свирелях фавнята, печальный бог Пан, Адам и Ева

и бесконечное множество образов и мгновений, без которых меня сегодняшней бы не существовало. Музыка тем и прекрасна, что она – всегда. И во всем.

Постлюдия № 3 соль мажор • Мой дом

Мой дом – моя крепость...

Где ты, мой дом?

Что ты (кто ты), мой дом?

Мне часто снится сон: я живу в огромном здании, где у каждого из почитаемых мной людей есть квартира или дом внутри этого дома. Так я захожу в гости к Гульдэ, он показывает мне какой-то найденный им, особенный клавинорд, мы играем по очереди Баха, и он приглашает меня заходить в любое время, когда мне одиноко. Я даже помню, что квартира его угловая, по коридору – направо.

А еще там живет Бернштейн. У него я брала уроки дирижирования. Только почему-то всегда либо симфониями Малера, либо Бетховена. А один раз он пришел ко мне на концерт совершенно незвано и стал дирижировать. Я в это время симинорную сонату Листа играла, а он встал прямо за роялем перед моими глазами и дирижирует мной. Я ему говорю – отойди пожалуйста, а он качает головой, упрямый такой и настаивает на своем.

А еще в доме том живут Клайбер и Мравинский, Шуман, Рахманинов, Пушкин, Моцарт, Рильке, Цветаева, Манделъштам, Пикассо, Гойя, Дюрер, Тулуз-Лотрек, Бах и Босх.

А еще там есть леса и озера и самое синее огромное море и, прямо внутри, а может и уже вне этого дома – прекрасная гора, самая совершенная, самая зеленая гора в мире, верхушка этой горы уходит в облака и на этой горе живет маленький мальчик, нет, не Максимка, который дотронулся до облака рукой, а дру-

гой мальчик с шевелюрой волнистых волос и длинными ресницами. На этой горе в деревянном домике живет его старая бабушка. От города на гору ездит маленький автобус, кряхтящий на крутых поворотах и то и дело угрожающе повисающий над скалистой бездной. Мальчик пасет коз и не догадывается, что с другого конца земли на него смотрит маленькая девочка и присутствие будущей встречи уже отражено на них обоих.

Постлюдия № 2 ля минор • Отражения

Все истинное – всегда тайна. Анализ – от лукавого. Тайна – на то и тайна, что не поддается анализу. Анатомируя тело – не наружишь душу.

Нью-Йорк – ребра гигантского органа, играющего фугу бесконечных голосов. Я иду по Нью-Йорку и смотрю вверх. Надо мной – небо. Закатное небо самых немислимых цветов – гигантские театральные декорации. Вокруг меня идут (или же они летят?) одинокие прохожие, парочки, целые толпы людей, бесчисленные ручейки и реки, впадающие в море Нью-Йорка.

Меня выносят волны на Площадь Времен, где со всех сторон пульсируют и извиваются огни, и я начинаю ощущать за этим калейдоскопом людей, шумов, автомобилей, огней – единый замысел композитора, сводящий полифонию отдельных голосов к единой основополагающей гармонии жизни, дающей этому хаосу внутреннюю основу и стройность, как педальные басы органа, на основе которых строятся вертикально вверх гармонии и разбегаются горизонтальными стрелками линии отдельных голосов. И, вглядываясь в окружающую меня толпу, пульсирующую метром жизни, я узнаю в лицах мои зеркальные отражения: вот толстогубый Отелло, вон тоненькие нимфетки, вон Скиталец-Странник с посохом, а вон там – лохматый дикарь Маугли, вон обнявшись стоят Монашка и Блудница, вон смотрит из окна Ребенок, вон Отшельник-Мудрец, и в каждом прохожем я узнаю себя.

Постлюдия №1 до мажор • Музыка

...А разноцветные человечки все пляшут перед домиком на лужайке. Над ними светят Луна и Солнце. Плачут они или смеются? Или плачут сквозь смех и смеются сквозь слезы? Но ведь главное в этом рисунке не человечки и не домик, ни Луна и даже не тертый торт, который печет Аличка внутри домика; – нет, главное – это музыка, которую слышат и под которую танцуют человечки, цветы, дым из трубы, звезды и каждая отдельная травинка; музыка, которую нельзя нарисовать и нельзя описать в словах, как нельзя изобразить зрительно или словесно Бога.

Музыка, вечная Музыка, только ради которой и стоит родиться на свет. Музыка, начало начал и то, что будет после конца, что всегда было и будет. Музыка – рай, куда попадают, умирая, слова.

Книга кончается, но музыка остается...

**ЧАСТЬ IX• КОДА или Чему улыбался
Чеширский Кот**

(Тетрадь стихотворений Странника)

* * *

А осень рассыпает щедро дым
Из лиственной дурманящей отравы.
И шелестят о чем-то скрытно травы...
И дом, который я назвать «своим»
Уж не могу, теперь мне чаще снится.
В нем осень мне гадает по руке.
И хочется кому-нибудь открыться,
А на каком – неважно – языке.

* * *

Чем бесхитростней лейтмотив,
Тем сложнее будет развязка.
Я пишу. Из-за строчек моих
Смотрит Время, скрывшись под маской
Из частиц и предлогов. И
Тишина, дробясь, отступает.
И заветных слов падежи
На прошедшее время склоняет.

* * *

Обнаженьем души не смутить небеса.
И с изнанки – с той, другой стороны
Самого себя (лишь закрой глаза)
Проступают контуры памяти – сны.

Проступают, и жизнь отражается в них.
И, с иной высоты на себя взирая,
Обнаружишь во сне нерожденный стих,
Что пульсирует в звуках, слова подбирая.

И не разумом даже – дрожью в руках
Не удержишь слов по невзрачным приметам.
День встает, ощерясь, под всхлипы и страх,
И рассыпалась память скомканным эхом.

И с усмешкой печальной взглянешь на себя:
Зеркала, как известно, врут не хуже
Репортеров и, хрусталик щадя,
Отражают лишь то, что снаружи.

Молитва

И таинство, и чудо мироздания,
И хрупкость тишины его основ,
И скорбное и строгое звучанье
Гармонией объятых голосов.
Величье мира все в глазах ребенка,
И Вечность умещается в горсти.
О Господи, Твой свет, как отзвук тонкий,
Дай сил сквозь путь мой чистым пронести.

Времена года

I.

Жизнь – уроборос. Весна
Безотчетно и верно объединяет
Всех и все, жизнь и смерть.
Обновление мира движет веками
Эту землю. Лишь Бог, верно, знает,
Что на этом построена вся круговерть.
Когда жизнь впереди, мы намного честнее,
Обнаженье земли – залог на любовь.
В этом времени можно счастливым быть в келье,
И дворцом может стать нищенский кров.
В этом возрасте долгим кажется год,
И сражаешься с мельницей, как Дон Кихот.

II.

Дни проходят, и в *этом* времени жизни
Лето дышит в затылок отгулявшей весне.
Привыкание к зрелости постоянно
Напоминает о доме, отчизне,
О хозяйственных хлопотах и о семье,
О работе, о присвоении званья...
Это время жарких полдней, когда
Солнце смотрит в свое отраженье,
Свой единственный глаз о воду дробя
(Жизнь позволяет отдаться теченью) –
Желтым лучом пылинки топча,
Входит в зенит паралича.

III.

Дни проходят, и птицы вдаль пролетают.
Листья падают, падают, и все никак
Опуститься на землю не могут...
Мои мысли подчас застывают –
То сознанием поданный знак,
Как вопрос уходящему Богу.
Жизнь похожа на тогу. Из дней,

Как из складок последняя, сшита
Из предчувствий зимы. Колыбель
Пеленою заката укрыта.
И надломленной ели торс
Ствол кривит, как повисший вопрос.

IV.

Дни проходят. Вороны гнезда –
Отрепья на голых ветках.
Снег ложится тебе на висок
И уж больше не тает, и гвозди
Начинают шататься, и клетка
Распадается, пуская течь, как челнок
Иль как старый корабль. И сердца одышка
Удручает. Что-то давит в груди.
Заглушаются звуки... Смертная вышка
Вырастает внезапно крестом на пути
Так неожиданно, что можешь произнести
Ты успеть лишь три слова: «За все прости».

* * *

И иногда мне кажется, что жизнь –
Лишь чей-то вымысел. Скажи, Господь,
Иль это мы друг другу снимся?
А вечно только небо над землей?

Но почему ж тогда такую болью
Встречаем мы ниспосланное свыше
И чувства искажаем изнутри?
И не окажется ли вдруг слезой

Твоей, Господь, весь мир, что нами видим
И высчитан до тысячной звезды?
И странниками мы в пути,
Между Несбыточным и Прошлым?

Кто мы? И для чего наш путь?
А дни летят, кружась над нами,
И стынут за окном снегами
Пересечения наших судьб.

* * *

А жизнь все течет куда-то мимо,
Меня лишь задевая стороной.
И ветер скорбным пилигримом
Скитается за мной.

От фонаря косые блики
Лишь поглощают скудный свет.
Век на исходе шлет сквозь крики
Тысячелетью новому привет.

И я, как прежде, замыкаюсь
В самом себе и в хор людской
Не вписываюсь. Жизнь, преломляясь,
Лишь обдаёт волной морской.

Волна отходит. С грустью наблюдаю
За всем, чем так богат отлив,
И по осколкам собираю
Свой неразгаданный мотив.

* * *

Как мудрый сад листву с ветвей роняет
В предчувствии зимы, так счастлив тот,
Кто к старости все роздал, открывая
Душе иного счастья небосвод.

Уходят дни от нас. Уходят безвозвратно –
С такую неизбежностью простой.
Блаженен, верно, тот лишь, кто растратить
Сумел себя, – он заслужил покой.

И память – странный свет, который
Оглядку сердца бережет,
Диктует свой урок суровый
И тайною слезою жжет.

Три стихотворения о старости

I.

Не дай нам Бог дожить до мига,
Когда, не пряча превосходства,
Нас дети, как пустую книгу
Поставят в пыльный шкаф сиротства.

И в старости, замкнувшись в круге
Пустых обид и сожалений
Мы сами, гордые, от скуки
Нить обрываем притяжений.

Так мало связывает с жизнью:
Обрывки серых фотографий;
Глаза собаки с укоризной
Глядящие на желтый кафель;

Обои цвета расставаний;
Застывший голос в телефоне,
Пророчающий нам свиданье
На безымянном небосклоне.

II.

Труднее страшного труда
Остаться в стороне от дела,
И знать, что утекла вода,
И в пепел жизнь твоя сгорела,

Что ты не нужен никому
И одинок непоправимо,
Что ты идешь ко дну, ко дну,
Оставив позади руины,

Что правит ныне век иной,
А ты отстал, смешен и жалок,
Что время ширится стеной
И смерть – обещанный подарок.

III.

Взглянув спросонья на себя,
Ты замечаешь вдруг морщины,
Сбежавшиеся вокруг рта
И вокруг глаз – лица руины.

И ты – осколок дней иных
Тебе не быть, как прежде, целым
И твой разорван в клочья стих,
А ты стоишь оцепенело.

И каждый день, опять, опять,
Себя ты собираешь снова.
Как трудно, Боже, утром встать,
Как страшны бытия основы.

И дел невзрачных шумный строй
Как тяжело встретить в одиночку.
Но как услышать лад иной,
Как вымолить себе отсрочку?

О, этот тихий героизм –
Встать поутру. Начать с начала.
И знать, что продолжаешь жизнь,
Хоть смысла в этом, может, мало.

* * *

Деревья прячут ветви в облаках,
Полоща на ветру умерших души.
Свирепствует прибой пенный прах,
Облизывая каменные груши

Прибрежных скал. Здесь сладко жить,
Вечерней предаваться лени,
И слушать, как прибой крошит
И нежит берега ступени.

Здесь можно позабыть о том,
Что дни, как пойманные рыбы,
Остатки жизни ловят ртом
И застывают, словно глыбы

Чешуйчатых камней; что их осталось
Не так уж много. Если жалость
Здесь вдруг проникнет в сердца строй,
То не нарушит тем покой.

Здесь можно жить, забыв про светотень,
Про страх, про Время и про старость;
Здесь можно засыпать, как будто день
Весь впереди, и будет еще радость;

Как будто после сна настанет явь,
Прекраснее любого сновиденья;
Как будто в темноте пускаясь вплавь,
Тебе всегда укажут путь к спасенью;

Как будто что-то можно изменить,
Как будто что-то от тебя зависит,
Как будто смерть лишь тело усыпит,
Как будто Бог твои молитвы слышит.

Проводник

Я – проводник. Передатчик Твоих
Откровений и тяжкого дара.
И на тетрадных листках сухих
Чернила – оттиски жара.

Я – проводник. Вне Тебя меня нет.
А если что-то и есть, –
То лишь помеха, жизни побег,
Не вырванный с корнем весь.

Я – проводник. На людской язык
Перевожу тома
Звездных мелодий и Вечности лик,
Песни бессмертья и сна.

Я – проводник. Да помилуй меня,
Если за слабостью сил
Я желанье «взять для себя»
В корне не искоренил.

Я – проводник. Твой свет провожу
В потемки людских сердец,
Чтоб их озарить, с Тобою их слить,
Как звуки сливает певец.

Я – проводник. Мою жертву прими:
Вот жизнь и желанья мои:
Возьми их себе. Мне налегке
Лучше поются стихи.

Я – проводник.

Исход

Где высокая правда казнила глупцов,
Где Египет не спас Иосиф,
Где народ малодушный роптал на жрецов,
Говоря, что лишь хлеба просит,

Что зазя избрал его из других
И мышцей высокой направил
Тот, чье имя произнести
Смертный простой не вправе; –

Там и ныне свершается вечный Исход
Из Египта в каждом из нас.
Каждый час в одиночку и как народ
Мы решаем судьбы своей глас.

И все то же чудо пред нами горит,
Лишь раскрой шире глаза.
То пустыня, то море путь преградит –
Тяжело, но не верить нельзя.

Если держишь в душе священный завет,
Если вера тебе дана,
То увидишь в туннеле желанный свет –
То – обещанная страна.

Вопрос

В ловушке лет,
В суете расставаний,
В тоске чемоданной
Перепутав куплет

Этой партии жизни;
В фальшивости хора,
Осознав кривизну
И тупик затора,

Вдруг спросить: «А зачем?»
Замолчать на мгновенье.
Насекомых сипенье
И визжанье сирен

На вопрос не ответят.
Поставленный косо,
Он повиснет, как сущность
Идеи вопроса,

Как белье без хозяйки, –
Пробелом в пространстве,
Без винта и без гайки –
Мечта пуританства,

Он конец любого
Пути и начало;
В нем сознание у смерти
Безнадежность украло.

...Помолчи мгновенье.
И дальше пойдя.
Близорукость зренья
Помогает в пути.

Тени

Мы тени, познавшие страх и печаль.
Нас тихо качает стеклянный фонарь.
Качает и знает: нам не суждено
Вернуться наверх или кануть на дно.

И знаем мы сами – тому мы виной,
Что небо склоняется к нам головой,
Но нет за нас слов ни в молитвах, ни в снах –
Наши стремленья бесплотны, как прах.

Ни жизнь, ни смерть, ни рай, ни ад
О нас ничего не говорят.
Нас просто не помнят. Забвенья река
Нас кружит, как серые облака.

И все ж существуем всему вопреки
Пред смертью, пред жизнью навек должники.
Мы здесь охраняем вину и печаль,
Нам завтра известно и прошлое жаль.

* * *

Тишина. Лишь музыка понять
И сберечь способна тишину.
Звуками оформить и обнять
И пустить, как золото, ко дну.

Там, на дне моей души, во сне,
Среди сонма одиноких звезд
Слово, зародившись в тишине
Разряжает тьму, пускаясь в рост.

Одиночество

Разлуке ты построил храм.
В нём пыль пирует в освещеньи,
И покрывает жалкий хлам,
Дом и тебя в оцепененьи.

Сквозь пыль ты видишь робкий свет,
Что согревал тебя когда-то,
И на столе родных портрет
С истершейся забытой датой.

Все обернулось страшным сном.
Лишь пустота в душе – не рана.
А одиночество столпом
Растет безмерней океана.

* * *

Быть может мгла – это лишь форма света,
Для нас, слепых, не видящих его.
И прозревания первая примета –
Отсутствие случайностей. И то,
Что все случайности закономерны – свято
И радостно, как откровенья знак,
Как будто мир нам распахнул объятья,
И болен светом обнаженный мрак.

* * *

Свободы нет и не было. Когда-то,
Когда свершилась тяжкая расплата
За своеволия первозданный грех,
Мы поселились на чужой планете,
Ни ангелы, ни чудища, ни дети,
В реальности подобий и помех.

Нам кажется, что впереди дорога,
Нам кажется, что мы давно в пути,
Но позабыто слово Бога,
И сердце заморожено в груди.
Подобия живых, в душе мы мертвы.
И солнца страшный желтый глаз
Осветит завтра роботов когорты –
Подобия вчерашних нас.

Никогда

Прощаюсь слепо, наугад.
Сквозь пелену дождя не видя лица.
И этот день, печальный, как распад,
Мне уплывает в память серой птицей.
О «никогда» – семь страшных вечных букв
Трехсложия седого верный слиток.
В нем «нет» и «да» слились в единый звук –
В единый отравляющий напиток.

Дар

Смерти не будет. И жизни нет.
Есть лишь пролог и эпилог.
А между ними – тоненький след
Строчек, которым доверился Бог.

Смерти не будет. Ибо творенье
Переживает тело творца –
Новое, созданное им Время
Пересечет горизонт конца.

Жизни не будет тоже. Ибо
Это не жизнь, когда тяжкий дар
Душе дарует не радужность нимба,
А раздувает темный пожар,

Испепеляющий все. И тело –
Лишь оболочка, а все, что внутри,
Выжжено до пепелища – истлело.
Ты продолжаешь бесцельно идти,

Зная, что быть простым человеком,
Чувствовать радость от слова «жить» –
Тебе не дано. Что ты, как калека,
Горб за собою должен влачить.

И просыпаться в ночи, содрогнувшись
От холода бездны, зовущей во сне...
Жизнь и смерть, не разминувшись,
Бродят вокруг, недоступные мне.

На приход 21-века

Усталый век, себя возненавидев,
Сожрал последние остатки крошек.
Народ на площадях ликует –
Что дожили еще до одного

Тысячелетья. Полицейских ряд
Собой напоминает о Законе.
И маленький ребенок плачет
У пьяной матери, от грохота устав.

Чему мы радуемся? Смене цифр?
Иль постоянству варварской природы?
До эллинов нам нынче далеко,
Как далеко нам, впрочем, до халдеев.

Изменится ли что-нибудь вокруг?
Игра пустая цифр – и не боле.
Нам кажется, что что-то происходит,
Когда не происходит ничего.

Из кувшина в кувшин переливаем
Из года в год все ту же пустоту,
И сами пустотою стали,
И кто-то нас давно переливает...

Ревет толпа. Кто трезвый – наливай!
Грешно сегодня оставаться трезвым! –
Сегодня двадцать первый век восходит!
...Что он подумает, на нас смотря?

* * *

Звезды рубец...
От нехватки сил
Только вымолвлю –
Прости.

Неприкаянность –
Тяжкий крест,
Перекресток в тупик
Крестит.

Тишина.
От нее не уйти, не сбежать,
Не выгнать из проклятых
Стен.

В ней – как в зеркале
Вижу себя,
Сквозь Времени призрачный
Тлен.

На себя – о как мы
Боимся себя –
Так страшно *просто*
Смотреть –

Как будто душе
Задан вопрос –
И Время пришло –
Ответь.

Бездомность

I.

– Бездомность... Бездомен...

– Ты, ветер ли, стонешь?

– Так корабль без причала –

Тонет.

(На дне – лишь на дне...)

Где дом твой?

– Безмерен, без-меры,

Вне мер,

Вне мира,

Весь – вымысел, вихрь...

– На дне значит.

– Дне? Почему же –

В душе!

– Лишь в смерти тогда...

– А что вы зовете смертью?

– Конец? Обман?

– Ни то, ни другое –

Без-смертье, без-меры, без-домство –

Им в дар воскурю фимиам.

II.

Бездомность – как камень на шею –

И – вниз. А дальше лети, притяженья не зная,

Новых галактик приветственный свет

Свободой бездомного открывая.

– Но горе ведь это, – вы скажете...

– Да. Но соль очищает раны.

И дом мне любой – цепь корабля,

Опоясывающая обманы.

И в мире, где меры диктуют часы,
Где мелочны дни и заботы,
Я в мир безвременья с привязи рвусь,
Из этой болотной зевоты.

Там – в безвременье – другие цвета,
Там – мир первичный и цельный...
Там – память моя,
Там – детство мое,
Там – дома заветные стены.

Там в высоте, где светила горят
Я распрощаюсь с собственным я.
Музыка звезд – сладость утрат –
Приветствует светом родное дитя.

Пробуждение

Я – ничто. Заблудившийся во Времени
Сгусток нервов и мыслей,
Потерянный в пространстве, в котором меня нет,
(Но и вне которого меня нет.)

Я – никто, но есть кто-то с моими
Чертами лица, кто зовется мной
И откликается на мое имя.
Он присвоил мой голос, привычки и даже
Отпечатки пальцев. Он – моя копия, но не оригинал.

Но я – есть. Я живу.
Я тянусь к солнцу вместе с листвой,
Я в каждой капле древесного сока,
Во влаге земной, в жарком песке,
В холодном ветре, в парящей птице...

И воздух свистит под *моими* крыльями,
Влага вбирается *моими* корнями,
Ибо я – это и птица, и дерево,
И августовская капля смолы,
Янтарная, как солнце и животворная, как мед.

Я – нигде, ибо я – везде.
Я – никто, ибо я – во всем.

Я открываю заново, тревожно и радостно:
Я живу.
Я – это я.

Как прекрасно проснуться на земле!

ПРИМЕЧАНИЯ

Прелюдия № 3

«Хронология... Хронос плюс логика». — Хронология от греч. χρόνος, «время», и λόγος, «учение».

«И логикой гармонию развязать». — Вариация на строки из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Музыку я развязал, как труп. Поверил я алгеброй гармонию».

Прелюдия № 5

The king is dead, but nobody knows. — Вариация на формулу: *Le roi est mort, vive le roi* («Король мёртв, да здравствует король»).

«Узнаем о предметах по теням, ими отбрасываемым». — Авторское примечание: свободный отголосок платоновской мысли. Нам дано знать вещи не в их последней сущности, но лишь по их очертаниям, отблескам, отражениям — по тем теням, которые они бросают на стену нашего восприятия.

Прелюдия № 6

«По образу и подобию Своему». — Ср.: Быт. 1:26–27.

Трио, ор. 1

«Мы с тобой одной крови, ты и я». — Р. Киплинг, «Книга джунглей».

«Горб верблюжий, такой неуклюжий...» — Р. Киплинг, *The Camel's Hump* (пер. С. Маршака).

«Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!» — С. Маршак, «Кошкин дом».

«У попа была собака». — Фольклорная присказка.

Полный текст:

«У попа была собака,
Он её любил,
Она съела кусок мяса,
Он её убил,
В землю закопал
И надпись написал:
У попа была собака...»

«...Умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». — С. Есенин, «До свиданья, друг мой, до свиданья». Авторское примечание: Одно из любимых стихотворений моей мамы; я знала его наизусть с самого раннего возраста.

Полный текст:

«До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.»

Прелюдия № 9

«Город Пушкина, лишь недавно вернувший своё имя, печально отражался в отравленных водах, не узнавая себя». — Речь идёт о Санкт-Петербурге, который неоднократно менял своё название: основан в 1703 году Петром I; с 18 августа 1914 года до 26 января 1924 года — Петроград; с 26 января 1924 года

до 6 сентября 1991 года — Ленинград; с 6 сентября 1991 года — снова Санкт-Петербург (в разговорной речи — Питер).

Прелюдия № 10

«Лешана хаба'а би-Йерушалаим» (Leshanah haba'ah bi-Yerushalayim). — Фраза из Пасхальной агады: «В следующем году — в Иерусалиме»; эти же слова произносятся и в завершение богослужения Йом-Кипура.

«Разве в Египте не было могил, что ты повёл нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» — Исх. 14:11.

«...И вещи Мойры судьбы нам ткут». — Мойры (др.-греч. Μοῖραι, от μοῖρα — «доля», «участь») — в древнегреческой мифологии богини судьбы; в римской традиции им соответствуют Парки. В классической традиции это три сестры: Клото прядёт нить жизни, Лахесис определяет жребий и долю каждого, Атропос перерезает нить, завершая жизнь.

Прелюдия № 11

*«Когда б твой тайный помысел невинен был,
Язык не прятал слова постыдного, —
Тогда бы прямо с уст свободных
Речь полилась о чистом и прекрасном».* — Сапфо, к Алкею; пер. В. В. Вересаева.

«Давай с тобой полаем при луне...» — С. Есенин, «Собаке Качалова».

«Сон разума рождает чудовищ». — Офорт Франсиско Гойи из цикла Капричос, озаглавленный испанской пословицей El sueño de la razón produce monstruos.

«Зеркало Дориана — ангел или чудовище?» — Отсылка к роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

«...И хрусталик щадя, / Отражает лишь то, что снаружи». — Строки из стихотворения «Обнаженьем души не смутить небеса» из тетради Странника. Стихотворение не уцелело.

Прелюдия № 12

«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». — Быт. 3:7.

«Сапфо фиалкокудряя, чистая,
С улыбкой нежной. Очень мне хочется
Сказать тебе кое-что тихонько на ушко.

Только не смею — мне стыд мешает». — Алкей, к Сапфо;
пер. В. Вересаева.

Прелюдия № 13

«В начале было Слово». — Ин. 1:1.

Прелюдия № 15

«Полетите вы с крыши на чердак». — Н. Носов, «Приключения Незнайки».

«Замучен тяжёлой неволей». — Каторжная песня; слова Г. А. Мачтега, музыка народная.

Прелюдия № 17

«Ярило, начало начал, враг мой». — Ярило — имя восточнославянского языческого бога.

Прелюдия № 18

«Вместо скучных упражнений Ганона и гамм, я импровизирую за фортепиано, пользуясь тем, что Марианна не разбирается в музыке». — Имеется в виду Ш. Ганон «60 упражнений для фортепиано» — популярные упражнения «для развития беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а также лёгкого запястья».

«...Монтекки и Капулетти» Прокофьева... — Отсылка к сцене из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

«...А он, мятежный, просит бури...» — М. Ю. Лермонтов, «Парус».

«Затем случалась буря — девятый вал Айвазовского...» — Отсылка к картине И. К. Айвазовского «Девятый вал».

Прелюдия № 19

«Да, я ещё живу. Но что мне в том,

Когда я больше не имею власти

Соединить в создании одном

Прекрасного разрозненные части». — Г. Иванов, «Душа черства. И с каждым днём черствей...». В ряде позднейших публикаций встречается чтение: «в сознании одном»; в первой публикации — «в создании одном» (Новый корабль / Le Vaisseau Nouveau. Paris, 1928).

Прелюдия № 20

Симфония «Реквием Тысячелетию». — Авторское примечание: Я много лет работала над этим сочинением. Его судьба параллельна судьбе «Зеркала»: первая версия была написана, когда мне был двадцать один год, а затем произведение на протяжении трёх десятилетий многократно перерабатывалось и

редактировалось. В настоящее время оно фигурирует в каталоге издательства Boosey and Hawkes как Концерт для фортепиано с оркестром.

Трио, ор. 4а. В темпе вальса

«По образу и подобию Своему». — Ср.: Быт. 1:26–27.

«Не суди, да не судим будешь». — Ср.: Мф. 7:1; Лк. 6:37.

Постлюдия № 22

«...Всё пройдёт, как с белых яблонь дым,

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым». — С. Есенин, «Не жалею, не зову, не плачу...»

«...И сладок нам лишь узнаванья миг». — О. Мандельштам, «Я изучил науку расставанья».

Постлюдия № 20

«Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячат больше невмочь». — С. Есенин, «Чёрный человек».

Постлюдия № 16

«В том, что они свергнули Бога и убили царя». — Отсылка к расстрелу царской семьи в июле 1918 года.

«Мне же это вовсе не казалось таким уж странным: в Древней Греции люди свергали богов, боги — людей; детоубийство было распространённым сюжетом, если вспомнить Крона, пожирающего собственных детей». — Согласно грече-

скому мифу, Крон (Кронос) боялся предсказания, по которому один из его детей свергнет его, и потому проглатывал их одного за другим. Так он проглотил Гестию, Деметру, Геру, Аиду и Посейдона. Его супруга Рея, беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребёнка, родила его в глубокой пещере на Крите и скрыла там, а Крону дала проглотить камень. Когда Зевс вырос, он начал войну с отцом, потрясшую Вселенную до основания. После десятилетней войны Крон был свергнут Зевсом и заключён в Тартар.

«...И почему-то при словах «девятнадцатый век» я представляла картину Клода Моне «Дама в саду», которая часто изображалась на почтовых открытках...» — Имеется в виду картина Клода Моне «Жанна-Маргерит Лекадр в саду» (Jeanne-Marguerite Lecadre in the Garden), также известная как «Дама в саду в Сент-Адрессе».

Постлюдия № 9

«Неужели я настоящий, и действительно смерть придёт?» — О. Мандельштам, «Отчего душа так певуча...»

Постлюдия № 8

«О Морфей, сладчайший из богов, посещающий все души».
— Морфей — бог сновидений в античной мифологии.

«Баю-баюшки-баю. / Не ложися на краю...» — Русская народная колыбельная.

«Спят усталые игрушки, книжки спят...» — Популярная колыбельная; слова Зои Петровой, музыка Аркадия Островского. Авторское примечание: в детстве эта колыбельная звучала каждый вечер в телевизионной программе «Спокойной ночи, малыши».

Трио, ор. 1а

Трио написано с использованием «зеркальной» музыкальной техники — ракохода, то есть проведения темы в обратном движении, от последней ноты к первой. В более широком смысле ракоходом называется любое обратное изложение тематического материала.

«...Не новей, конечно, жить, но и не ново умирать».

«Бровей не печаль и не грусти, слова без руки без...» — Строки Есенина, приведённые в ракоходе; см. примечание к Трио, ор. 1.

«Дом кошкин загорелся! Бом-тили!» — Строки Маршака, приведённые в ракоходе; см. примечание к Трио, ор. 1.

«Неуклюжий такой верблюжий горб». — Строка Киплинга, приведённая в ракоходе; см. примечание к Трио, ор. 1.

Постлюдия № 3

«Так я захожу в гости к Гульду, он показывает мне какой-то найденный им, особенный клавикорд, мы играем по очереди Баха, и он приглашает меня заходить в любое время, когда мне одиноко». — Гленн Гульд — канадский пианист.

«А ещё там живёт Бернстайн. У него я брала уроки дирижирования». — Леонард Бернстайн — американский композитор, пианист и дирижёр.

«А ещё в доме том живут Клайбер и Мравинский...» — Карлос Клайбер и Евгений Мравинский — выдающиеся дирижёры XX века.

Постлюдия № 2

«Меня выносят волны на Площадь Вреён...» — Имеется в виду Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Из тетради Странника: «Времена года»

«*Жизнь — уроборос*». — Уроборос, или ороборос (от греч. οὐρά, «хвост», и βора́, «пища»), — мифологический змей, замкнутый в кольцо и кусающий собственный хвост; один из древнейших символов бесконечного возвращения и возрождения.

Lera Auerbach is a poet and writer whose work brings literature and music into a single artistic vision. Writing in both English and Russian, she has formed a body of work shaped by formal freedom and a voice unmistakably her own. Her writing returns to memory, time, loss, and the inward life with rare intensity and precision. In her work, the intimate opens into the vast, and personal experience becomes inseparable from the deeper continuities of culture and consciousness.

Лера Ауэрбах – поэт и писатель, в чьём творчестве литература и музыка соединяются в единое художественное целое. Её стихи и проза отмечены свободой формы и неповторимым голосом. С редкой силой и точностью её тексты возвращаются к памяти, времени, утрате и внутренней жизни человека. В них личный опыт раскрывается как часть глубинных связей культуры и сознания.

ЛЕРА АУЭРБАХ
ЗЕРКАЛО
роман в отражениях

First Edition

*Design and typesetting: Virgola Press
Published in 2026 by Virgola Press, New York
<https://virgolapress.com>*



«Зеркало» — философский роман о любви, памяти и времени, о мире как о пространстве отражений, где одно непрестанно проступает в другом. Это книга редкой внутренней свободы и духовной ясности, в которой детство, музыка, миф и слово складываются в глубокое знание о человеке.

- Владимир Гандельсман

Ауэрбах с исключительной виртуозностью сообщает прозе точность построения и тонкость нюансировки, обычно присущие музыке. В центре этого романа — детство и память, та исчезающая материя жизни, которая, вопреки утрате, продолжает светиться в слове.

- Соломон Волков

Книга Леры Ауэрбах — симбиоз буквы с нотой. Ее опус магнум «Зеркало» — «музицированный» поэтический опыт: тонкая, элегантная, воздушная вязь сложно переплетенных мотивов, роман для соло-виртуоза.

- Александр Генис



www.virgolapress.com

